



Валерий Попов

Писатель, сценарист, кинематографист. Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кинематографистов. Автор сорока книг. Публиковался в изданиях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и др. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2013), Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства (2014), Гоголевской премии за книгу «Зощенко» (2015), премии им. Фазилы Искандера (2020) и др. Награжден орденом «Дружбы» (2009), знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014), медалью Пушкина (2016). Живет в Санкт-Петербурге.

Бросил пить и приоделся
(педагогические записки)

1.

Жить, не пытаясь преобразить мир — жить зря. Такие мысли — и пропадают! Мы толпились в школьном дворе после торжественной линейки по случаю окончания учебного года, освободившись непривычно рано. Мысль можно и реализовать! И я подошел к группе самых «отпетых» одноклассников, которые уже что-то «соображали» в углу двора.

— А пойдем в Летний Сад! — предложил я.

Они офонарели. Уставились на меня. Увидели, наконец! Но уйти так, чтобы потом никто и не вспомнил, я не хотел.

— Там лебеди на пруду! — вдруг сказал я, вовсе не будучи в этом уверенным.

— Отвечаешь?

— Да!

— Ну, пошли!

Мне кажется, я их отвлек от чего-то важного, и идут они только затем, чтобы потом мне «накидать», но уже на законных основаниях. Вот и отпразднуют окончание учебного года!

От Моховой до Летнего сада путь недолог. Но — мучителен. Не я создал этот мир! Почему же я отвечаю за него? Ответишь! А кто же еще? Дураков больше нет.

Конечно, никаких лебедей на пруду не оказалось.

— И где!?

Мне хана. А также и жизни, которую я им обещал. «Так сделай ее! Или хоть — попытайся!» Я нащупал в кармане бутерброд, выданный мне на весь день. Бутерброд плюхнулся посередине пруда, и из крохотного домика на берегу, где и уточке, казалось, не поместиться, выпорхнули вдруг два чуда, два лебедя, и поплыли, отражаясь. Я сглотнул слюну. Прощай, бутерброд. Но я сделал, что мог! Миг торжества! Конечно, они хлопали меня по плечам, по правому и по левому (ребята они неплохие), но ведь эполеты Преображенского полка от этого на плечах не выросли. И — все? И можешь идти.

Ну что, «кудесник, любимец богов»? Доволен? И так теперь — каждый день? Бутербродов не напасешься! И это еще — начало! Волнение почему-то нарастало.

Я свернул к себе на Саперный и вошел в другой мир. Стало вдруг очень жарко, возник нежный туман, и все сделалось необычным. Звуки доходили глухо, словно издалека. Я попал в какое-то волшебное царство! Жара нарастала, жгло мочки ушей. На лестнице показалось холодно, меня колотило. Что это? Где я? Горький вкус во рту. В прихожей стояла женщина, похожая на маму. Она положила мне на лоб ледяную руку.

— Э-э-э! Да у тебя температура! — глухо, словно сквозь воду, донеслось.

«Может, из-за температуры я так и начудил?» — подумал я.

Спасительная мысль. Появились великаны в белых халатах.

2.

— Да не так это делается!

От такой фразы я очнулся. Я ничего еще не делал — и уже что-то «не так»! Усмехаться, оказывается, больно. Губы воспалены и потрескались, и, кажется, кровоточат. Больница! Отсюда и голоса. Неприятные. Осторожно открыл глаза. Унылое однообразие, ряды стриженных голов. Владелец ближней головы в каких-то шрамах и струпьях, видимо, и есть тот, кто знает, «как это делается», причем — все! Мудрейший! Голован!

— Дай! — он взял у соседа банку сгущенки, которую тот пытался расковырять тупым ножом, и поставил себе на тумбочку, — ...Жди! — нагло захохотал. — К нам на Шкапина придешь — голым уйдешь!

«Какой же идиот к тебе на Шкапина пойдет?» — еще подумал.

Но оказалось — я. Зачем? Об этом и речь!

В палате был странный обычай. Часть ужина все приносили сюда — два ломтя хлеба и два кубика масла, и, сделав бутерброды, пировали здесь. Я бы сказал, «бездуховно общались». Я, увы, не принимал в этой «масленице» участия. Мама не положила в котомку нож, и я, отвернувшись к стене, глотал хлеб отдельно, а масло отдельно. Оно казалось соленым. Слезы? Давно я не плакал. Сильно ослаб. Долго не поворачивался: пусть слезы высохнут. И так продолжалось неделю! Но однажды (силы, видимо, появились) я, повернувшись к публике, положил два куска масла на ломоть хлеба и придавил другим, и нацелил это двухэтажное сооружение в рот. И был, наконец-то замечен.

— Гляньте! В двойном размере жрет! Во буржуй!

— Эй! «В двойном размере!» Куда пошел! Дай укусить!

— Стой, двухэтажный! Не уйдешь! — мне перегородили дорогу.

Вот он, миг славы, а точнее — позора!

— Ша! — рявкнул голован, и все застыли. — Геть отсюда!

Сатрапы, отталкивая друг друга в дверях, исчезли. Пришло, значит, и мое время. Что покажет?

— Наблюдаю тебя, — заговорил он (худой парень лет шестнадцати). — Удавишься, но не попросишь! На!

Он протянул мне символ власти — финку с наборной ручкой из плексиглаза разных цветов. «В зоне делают!» — слышал уже его хвастовство.

— Спасибо. Я люблю так! — теперь я уже принципиально пытался запихнуть свое двухэтажное сооружение в горло.

Не воспользовался возможностями. Зато воспользовался он.

— В центре живешь?

— Да, — отложив в сторону свой суперброд (говорить с набитым ртом невежливо), сказал я.

Не совсем в центре, но это неважно. Не будем нарушать ход его мысли. Мыслит — стало быть, существует!

— И все там культурные, вроде тебя?

— Да.

Ну, далеко не все... но возражать снова не стал. Занять какое-то место в его сознании... чем плохо?..

— Проблем больше у тебя не будет! — царственно произнес он.

— Спасибо, — откликнулся я.

«На время болезни? Или — навсегда?» — этот иронический вопрос я, конечно, не озвучил.

— Заметано? Фека! Феоктист! — он протянул мне костлявую руку, и я ее пожал. — Между нами, пацанами, — доверительно произнес он.

— Валерий, — сказал я. — Со своей стороны... что смогу! — я вдруг растрогался.

Видно, ослаб.

— ...Какие погоны к нам зашли! — вдруг восхищенно воскликнул Фека.

Чтобы все услышали? И они услышали.

Я, действительно, кудесник! Возле двери стояла мама, озираясь, и с ней — какой-то уютно-кругленький, сияющий улыбкой и лысиной, военный, сияющий еще и погонами.

— Так вот же Валерка! — воскликнул он, и они с мамой кинулись ко мне.

— Помнишь меня? — сиятельный гость тряс мне руку. — Вася Чупахин.

— А, вспомнил: вы в командировку к нам приезжали!

— Ну, вот, а теперь уезжаю. Хочу забрать отсюда тебя.

— Мы вместе, нет? — Фека трагично посмотрел на меня.

Чупахин перевел взгляд на Феку.

— Шашерин Феоктист! — солидно отрекомендовался тот.

— Мой друг! — произнес я.

Честность тогда зашкаливала. Он мне помог, верней — собирался. Уже хорошо! Нельзя такое отбрасывать.

— Друга — берем? — спросил Вася.

Я, помедлив, кивнул. Мерить в граммах, кто кому больше сделал добра?

— Да.

— Тогда пошли.

И «высокий гость» маленького роста зашел в высокую стеклянную дверь к главному врачу, и оттуда слышались то веселый разговор, то хохот. Так он, видимо, всех и покорял.

— Приезжайте к нам — примем лучшим образом! — доносилось до нас.

Хозяин кабинета проговорил что-то тихо, и Чупахин захохотал.

— Ты узнаешь его? — с гордостью произнесла мама. — Это Васька Чупахин, мой старый друг. Он сейчас главный врач крупного военного санатория в Сочи. Он хочет тебя... — но, глянув на моего друга, она осеклась, заговорила о другом:

— Инфекционный период уже прошел. Но тебе собираются рвать гланды. А гланды, как недавно открыли, рвать нельзя. Гланды — фильтр, на них микробы оседают. А тут — по старинке!

— Кровью захлебываемся! — с блатным надрывом Фека произнес.

— Ну... не преувеличивай! — засмеялась мама..

— Ну вот, орлы, все в порядке! Уходим! — появился Чупахин. — И тебя выписали! — сказал Феке.

— Куда? — дерзко произнес Фека.

— На кудыкину гору! — засмеялась мама. — А тебя, — повернулась ко мне, — Вася хочет забрать...

Остановилась.

— Домой иди! — скомандовала Феке мама.

— Не... — развалился он на скамье. — Я друга подожду!

Мертвой хваткой вцепился. Чупахин, весело прищурясь, смотрел на него.

— Ты тоже, что ли, хочешь с нами поехать?

— Не пожалеешь! — изрек Фека, уже панибратски.

— Ну, тогда... — задумчиво Чупахин продолжал размышлять. — Если на билеты до Сочи наберешь...

— Решаемо! — произнес Фека.

Как он «решит», я догадывался. Да и мама с Чупахиным раскусили его... Так что же происходит?

— Тогда давай! Жалко, что ты, Алевтина, с нами не едешь! — обратился Василий к маме.

— Так ты и не зовешь! — произнесла мама кокетливо.

И долго еще была весела и оживлена, как бы вернувшись в молодость.

— Ты решил — я не поняла, кто твой друг? Но, ты думаешь, я их боюсь? Да у нас в Казани вся улица блатная была. Молодежь этим даже щеголяла. А я тогда уже была вожаком комсомольской ячейки и помогала им, как могла.. Комсомольцы тогда смелые были, сразу на помощь бросались, не боялись ничего!

Мама моя видным была педагогом — что правда, то правда! Но никто тогда не знал, какого она завела себе подопечного! Глянула на меня со вздохом: мол, ты не такой, неизвестно какой...

Сделал, что мог!

— Васька Чупахин, кстати, тоже из таких! — нежно улыбнулась она. — Так что — продолжай, сын, благородное дело!

— Есть!

Проблем не будет! Точнее — начинаются...

3.

Если бы сейчас спросили, где я хочу жить, я бы ответил — там. И — тогда. Тенистое место (что так ценно на Юге!) возле административного

корпуса военного санатория в Сочи. Просторная прохладная комната во флигеле на втором этаже, тоже темноватая из-за нависших ветвей. Утром я просыпался, видя прямо перед собой за окном среди блестящих и крепких темно-зеленых листьев цветков олеандра, похожий на разрезанное на четыре части крутое яйцо — нарезанные дольки желтка, окруженные лепестками «белка». Но если разрезанное крутое яйцо бьет сероводородом, то тут запах был сладчайший, я бы сказал — томный. Позавтракав внизу, в кухне, я выбежал на тенистую площадку перед домом. Фека и Леня-курсант, племянник Чупахина, играли в шахматы огромными фигурами. В каждом советском санатории тогда почему-то были шахматы-гиганты. И, бодро крикнув что-нибудь вроде: «Ходи конем!» — я убежал по «темным аллеям». И только возле больных на костылях вежливо притормаживал.

Штормило всегда! Огромные прозрачные горы сжирали длинный бетонный мол, потом, разлившись по берегу, отступали, с грохотом катя с собой гальку. Пауза... и опять — оглушающий грохот! Какие-то акробаты прыгали с мола прямо в надвигающуюся волну, потом их выбрасывало, кувыряя, и они, хохоча и вытирая одной рукой лицо, а другой упираясь в склон, съезжали с грохочущей галькой в море. И это было не слабо — пока я не нашел свое.

За мысом было райское местечко! Ветер туда не доставал, и волны — тоже. Буйство тут было задавлено бетонными глыбами, ярко-белыми, но с ржавыми крюками, цепляя за которые, их и кидали сюда... И теперь тут была сладкая тишь. Ароматы цветов долетали с крутого берега. Между глыбами были лишь небольшие пространства ярко-синей, прозрачной, тихой воды. Вот где можно было ею насладиться, медленно плавая, видя красивое дно с подвижной солнечной сетью на нем. И, главное, на одной из белых, нагретых солнцем, наклонно уходящих в прозрачную воду глыб сидела она — загорелая, длинноногая, стройная, с белой волной волос, сбегающих по спине, и голубыми глазами, скромно опущенными. Иногда она падала и плыла — в метре от меня! Ноги божественно преломлялись в воде... А я тут плюхнусь, как бегемот! Нет... Хотя, казалось, не было ничего естественнее. Я уже мысленно прожил нашу сладкую жизнь на солнечной террасе...

«Ход конем» сделал Чупахин. Однажды, когда я выбежал с кухни, он словно ждал. И «покатился», как колобок, рядом. «Купаться?» — «Да!» — «А эти, гляди, не идут!» — усмехнулся он. Движения их уже были замедленными. Ленька стоял, держась за корону белого короля, направив на нас счастливый, но неподвижный взгляд.

— Разрешите доложить! Все путем! — язык у Феки заплетался, но — плел.

Чупахин вдруг схватил высокую королеву за горло и поднял. Фигуры оказались полыми и без дна — иначе бы их было и не поднять. Но королева была не совсем полая. Под ней стояла наполовину пустая бутылка портвейна. Чупахин весело глянул на Феку и поставил королеву обратно.

— Ну что, старый фармазонщик? — усмехнулся он. — Все в «куклы» играешь? Боишься квалификацию потерять? Вы бы хоть на пляски сходили!

И «укатился». Я, честно говоря, остолбенел. «Куклы»? Лихорадочно соображал. «Кукла» — воровской термин: когда снаружи одно, а внутри — другое. Королева — «кукла»? Фека вцепился в меня.

— Сдал, да?

Надо парировать удар.

— Ты сам прокололся, чудила! Не просек! — я кивнул в сторону Чупахина, который удалялся по аллее, попадая то в свет, то в тень. Фека застыл.

— То-то я, гляжу, ботает грамотно! — произнес восхищенно.

У каждого радость — своя.

— Тогда кумекай — зачем пригласили тебя!

— На пляски, что ли, его отвести? — произнес друг деловито.

— Точно! — и я умчался.

Именно в этот, последний день, я назначил, наконец, ей свидание. Специально просчитал так, чтобы глубоко не влипнуть. Я все же бултыхнулся рядом с ней, и мы договорились. Свидание, честно, прошло так себе: мы полночи боролись с ней на осыпающемся глиняном склоне. Меня отвлекали, видимо, угрызения совести, лишая уверенности. Я все представлял, как Фека один тащит тяжелого, словно памятник, Леньку. Душой был там. И телом, видимо, тоже. Лучше было бы Леньку волочить! Расстались с ней сухо. Но зато — только мой физический (и видимо, моральный облик) Чупахин одобрил:

— Вот ты, Валерка, отлично отдохнул, молодец! А вы... шахматисты, — Чупахин насмешливо глянул на них. — Словно и не отдыхали.

Леня виновато вздохнул.

— Работали! — хмуро проговорил Фека.

4.

Батя мой, как-то не особо заморачиваясь неинтересными проблемами, «творил свои сорта» в Суйде под Гатчиной — и вдруг до него донеслось, и он примчался.

— Алевтина! Валерка что — больной?

— Спихватился! — усмехнулась мать.

— Давай в Суйду его возьму, отдохнет!

— После Сочи — что ему твоя Суйда? Картошку окучивать? Внуку академика?

Я смутился.

— Я готов.

Хоть в тундру — лишь бы не обидеть никого. Тем более — родителей. И батя мне сразу же, в день приезда в Суйду, заявил (любил яркие идеи), что именно здесь, в старом здании, единственном сохранившемся из имения Ганнибала, где находился теперь отцовский кабинет, был зачат Пушкин! По датам все сходится!

«Шутоломный» — как говорила о нем бабушка. Решил бурно заняться просвещением сына. Шестнадцать! Уже пора. Фантазер еще тот. Весь в меня. Но с того ли начал? Я был полон иронии.

Но он уже забыл про меня, и жадно поглядывал на стол свой с бумагами.

— Чего делать тебе? — приостановившись, спросил. — Ну... в кино сходи!

И зарылся в очередную статью.

Кино? Тут он обмишулился, как педагог. Кино никто не смотрел. «Кина не надо! Ты свет гаси!» И темный зал прерывисто задышал. Считают, видимо, что раз они трудятся, имеют право и отдохнуть. С размахом! Рук! И ног. Шорохи, шепоты: «Не надо!» — «Да подожди ты! Дай, я сама!» Кто-нибудь, интересно, смотрел на экран? Совсем теряли стыд — к моему восторгу... Интересное кино!

Вернулся я оживленный. Батя на минуту переключился на меня:

— Ну что? Поживешь?

— Да!

— Тогда, может, и поработаешь тут? — обрадовался он.

— Можно, — согласился я.

Кто работает, тот... живет!

И вот я в конюшне. И ароматы — пьянят! Как будто я тут родился! Или, во всяком случае, был зачат. Как бередят организм запахи прелой упряжи, навоза — словно это было первое, что я вдохнул. Советовал бы парфюмерам сюда заглянуть. Кони гулко бьют копытами в стенки, косятся глазом, тяжело вздыхают: запрягать пришел? Едкий запах их пота, сладкий аромат сена... Рай!

Конюх устроил себе ложе в крайнем стойле — седла, чересседельники, хомуты и прочая мягкая кожаная утварь, брошенная на сено. Одно

из уютнейших виденных мной помещений. Живут люди! Разумеется, хозяин лежал, развалясь, одна нога (в кожаным сапоге) привольно вытянута, другая поджата. Кнутом (кожей обмотана и ручка) он похлопывал по ладони. Властелин!

— Чего тебе? А-а. Директоров сынок. Запрягать, что ли?

— Да! — глаза мои, видимо, сияли.

Он надел на плечо хомут, взял чересседельник и остальную упряжь.

— Нравится тебе тут?

— Да!

Он кивнул удовлетворенно. Видимо, «зарубив что-то себе на носу». Или — «намотав на ус». Подключив, думаю, смекалку и цепкость. Подошел к высокой белой кобыле с таинственной кличкой Инкакая. Такая вот Инкакая. Белая и могучая. Кося взглядом, попятилась.

— Стоять! — он надел ей через уши кожаную уздечку. — Подури тут мне!

Вставил между желтых ее зубов в нежный рот с большим языком цилиндрическую железку, прищелкнул и, не оборачиваясь, повел кобылу за собой. Та послушно шла, стуча копытами по мягкому дереву и шумно вздыхая. Директорский тарантас стоял, выкинув вперед оглобли. Конюх, покрикивая, «впятил» кобылу между оглобелей, хвостом к тарантасу, кинул на ее хребет чересседельник.

— Ну — запрягай! — он с усмешкой протянул мне хомут.

— А... — я застыл.

— Ну, тогда смотри!

Теперь я умею запрягать лошадь (и, надеюсь, не только лошадь, но и саму жизнь). Хомут, оказывается, напяливается на голову лошади, а потом и на шею, низом вверх, и только потом переворачивается в рабочее состояние.

Отец, хоть и директор селекционной станции, запросто вышел (такой человек) к не запряженному еще экипажу и азартно поучаствовал в процессе, затянув подпругу, упершись в хомут ногой, что сделало вдруг все сооружение, включая оглобли, натянутым, как надо, похожим на планер — сейчас полетим! И даже кобыла, словно приобретя крылья, зацокала нетерпеливо копытами и заржала. Отец сел в тарантас (он слегка накренился), протянул руку мне.

— Ну! Давай!

— Какой сын у вас! — восторженно проговорил конюх, подсаживая на ступеньку тарантаса меня.

— Какой? — отец живо заинтересовался.

— Нравится ему тут! — проговорил конюх-карьерист.

Хотя какая карьера могла сравниться с его работой? Даже мое бурное воображение отказывало!

Я восторженно кивнул. Отец ласково пошебуршил мне прическу. Я смутился — и он, кстати, тоже. Стеснялись чувств.

— Н-но! — произнес отец с явным удовольствием, и сооружение тронулось.

Мы поехали по полям. Отец держал вожжи, иногда давал их мне.

— Нравится?

Я кивнул. Прекрасные виды на работающих в полях!

Но пришлось слезть с этой высоты. На следующий день в шесть утра отец привел меня «на наряды» — распределение работ — и ушел к себе!

Ко мне подошел бригадир с острым облупленным носом (ну, конечно же, предупрежденный), поглядел, вздохнул.

— Ручной труд предпочитаешь... или на кобыле?

— ...Второе! — пробормотал я.

— Второе тебе будет на обед! — усмехнулся он. — Но я тебя понял.

Восторг переполнял меня. Ожидание чего-то. Ловил хмурые взгляды: «Тебя бы сюда на всю жизнь — не лыбился бы!»

В воскресенье я, как прилежный мальчик, директорский сынок, стоял на берегу, над розовой гладью пруда, не отводя глаз от поплавка. В этом пруду (как уверял отец, вырытом еще пленными шведами) ловились даже лини — тонкие, матовые и без чешуи. Самые древние рыбы.

Пахло алкоголем. Но я уловил не только алкоголь... что-то из ароматов кинозала. Она! Звезда — не экрана, а того, что под ним. Обычно она была не одна. И очень даже не одна! Но сейчас — с подружкой. Встали вплотную за мной, едва не касаясь сосками моей спины. Даже тепло ее дыхания на шее! Перехихикивались... Но этого мне было мало, чтобы к ним обернуться. Или — слишком много? Все внимание — поплавку.

— Вот с этим пареньком я бы пошла прогуляться, — насмешливо проговорила она... Ударница труда.

— Да ты что? — прошептала подруга.

И зашептала совсем тихо, наверное: «это директорский сынок».

— Ну и что? — грудным своим голосом, во всем его диапазоне, произнесла «ударница порока». — Уволят? — добавила вызывающе.

И на это она готова пойти! Ей хотелось действий, а я стоял, как пень. «Трудный клиент!» — как говорили мы с приятелями несколько позже.

— Встретиться бы с ним на этом самом месте... часиков в шесть! — произнесла она достаточно громко.

И они, хихикая, ушли. Уши мои раскалились. Я еще долго не двигался — вдруг они рядом. Наконец, расслабился, но не настолько, чтобы обрести здравый смысл... Долго, тщательно сматывал удочку — ина-

че нельзя! Но как ни мотай — от главной темы не отмотаться: «Што это было? В шесть часов? Через час?.. Не может этого быть!» И какова же была у меня сила воображения (при отсутствии воли), что я доказал себе: «Ну, конечно же, она назначила в шесть утра! Можно много успеть!»

И я пришел в шесть утра! Хорошо, что она не начертала чего-нибудь на песке! Отправился «на наряды» с чистой совестью.

...Ось катка то и дело забивается грязью, каток (бревно) не крутится, тащится, и лошадь сразу же останавливается. Тяжелее тащить. Надо сгрести с бревен лишнее. Бока лошади «ходят». Устала. И вот — демарш: она поднимает хвост, маленькое отверстие под хвостом наполняется, растягивается, и «золотые яблоки», чуть дымящиеся, с торчащими соломинками, шлепаются на землю. Наматывать «это» на каток мы не будем, иначе этот аромат — и само «вещество» тоже — будут с нами всегда. Уберем вручную с пути. Ну что, утонченный любитель навоза? Счастлив? Да! Можно катиться дальше.

«А у меня есть выносливость!» — понял я.

Тут я дал слабину: съехал с лошадей к ручью — поплескаться подмышками, умыться. Ну, и побрызгать на лошадь. Кожа ее, где попадали капли, вздрагивала, она пряла ушами, и вдруг заржала. Надеюсь, радостно. Но бревно впрялить обратно на бугор долго не удавалось, вспотели с моей кобылой, хоть снова мойся. Сладкий пот. Да-а. Не самый легкий путь выбрал я к своему личному счастью!

Грустный пришел к отцу. И он посочувствовал.

— Эх, товарищ Микитин! — произнес он свою любимую присказку. — И ты, видно, горя немало видал!

И обнял за плечи. Для него это — максимум. Но я был счастлив. Хоть в грусти сошлись.

— Слушай! — он вскочил. Опять его гениальная идея стукнула. — Смотри!

Он выставил вперед два пальца — средний и указательный, один над другим.

— Вот это — ты! — он провел по среднему пальцу, торчащему горизонтально.

— Ну? — нетерпеливо произнес я. Не нравится никому, когда его с пальцем сравнивают.

— А вот это, — он провел по указательному, задирающемуся вверх. — Твой друг!

— Какой это друг? — ревниво воскликнул я.

— Ну, неважно. Сначала вы вместе, рядом. Неразлучные, вроде бы. Но он уже, — провел по указательному. — Постепенно, сначала еле

заметно, задирается вверх, поднимается! А ты... — он с гримасой от-
вращения провел по среднему, который не только шел ровно, а даже
свисал — ...нет! — безжалостно произнес.

И закончил любимой веселой присказкой:

— Видал-миндал?

Веселится!

— А почему это я внизу?

— Хочешь наверху быть? Так поднимайся!

5.

Новая школа! Ближе к дому... И — все? Или это жизнь дарит подсказ-
ки? Ведь последний год. Наблюдая школьную жизнь, сообразил: новому
ученику легче преуспеть. Пока есть еще к тебе интерес — и среди учи-
телей тоже... Кто ты? Ответь! Отличник. Оживление в зале. И остается
только уроки выучить, делов-то. Батя привел отличный пример: телегу
трудно только с места толкнуть, а дальше она катится вроде сама! И
ее скорее подтолкнут, нежели остановят: катится весело, глядеть при-
ятно! Поэтому отличникам скорее добавляют балл, а двоечнику урежут,
если рыпнется. Все должны быть на своих местах. Иначе учителя с ума
сойдут! Пока тебя не знают — можно стать любим. Телега жизни катится
с веселым грохотом!

Иногда, конечно, тянуло назад. Хулиганы («с прежней школы», как
сказали бы они) оказались с нежной душой! Были тронуты, что я имен-
но их вспомнил из всех... но отличников и в новой школе хватало. А
у этих... душа! Чуть не начал читать им свои стихи... но некогда было!
Мы деловито шныряли в душном зале, освещенном лишь крутящимся
шаром с блестками, в тесной толпе танцующих. Клуб фабрики «Лентру-
блит»! Только для избранных! «Смотри — эта годится?» — «Эта? Полы
мыть!» Высокомерно уходим. Дела. Спускаемся по черной лестнице
вниз. «Тут без шухера!» — «Спокойно! — говорю я. — Водка прозрачная,
и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем!» Усмехаются.
Настоящие друзья! Ценят! Не то что эти отличники (взять того же меня,
но это — тайна), которые любят только себя. Но здесь я — другой! «Пе-
вец в стане воинов». Поэтому должен быть цел. Что губит некоторых?
Мне кажется, завышенные надежды на воздействие алкоголя. Выпил...
и ничего. Разочарование. Деньги потрачены. И приходится добирать
буйством. Впрочем — кто чем. Неформальный лидер наш, Костюченко,
стойкий второгодник, пренебрегший знаниями ради свободы, выпив
стакан, тут же окаменел на лестничной клетке. А его верный оружено-
сец Трошкин продемонстрировал, наоборот, необыкновенную подвиж-

ность: выпив стакан, пулей вылетел на улицу (может, подташнивало?) и, описав абсолютно правильный полукруг, влетел в сквер и упал на скамейку. «Подходяще!» — как говорил мой отец.

Убедившись, что с Трошкиным все в порядке, я вернулся к Костюченко. Стоит! И будет стоять! А я, похоже, — свободен!

Выпил ли я мой стакан, хотя ничто, вроде бы, к этому не принуждало? Да. Иначе все это выглядело бы не спортивно. Вдумчиво выпил. Ну, да. Омерзительно. Но не более того. Ничего трагического (лично для меня) тут не вижу. Мне кажется, большинство людей просто «наигрывают», потому как надеются, выпивая, на нечто большее, чем есть.

Я огляделся окрест. Танцы, видимо, на сегодня отменяются. И я пошел домой. Умно, что я учусь в другой школе! А друзей моих буду навещать. Изредка. Прихоть эксцентричного миллиардера. Восторг! Может быть, он частично связан с употреблением алкоголя? Не исключено. Рассмотрим.

— Ты где был? — спросила мама, но не трагически. Наверное, потому, что никакой трагедии не увидела.

И что-то мне подсказало, что говорить ей правду не стоит. Ей больше понравится компромиссный вариант...

— В планетарии, — четко ответил я.

— Разве он ночью работает? — усмехнулась мама.

И добавила добродушно:

— Ладно. Иди спи.

И я почувствовал: какую-то проверку прошел успешно. И время от времени ходил к ним и, как ни странно, не стеснялся именно им читать свои первые стихи, простодушно одобряемые.

6.

И все устроилось, жизнь пошла. И вдруг — сверхдлинный звонок в дверь. Но, вроде бы, зачет по алкоголизму я уже сдал? Пересдача? Открыл. Фека! Зачем? Еще один гость из прошлого? Но он же давал мне поддержать свою финку... в трудный момент? Но тот момент уже миновал. Стоп! Он и сейчас может сгодиться... Кстати пришел. Не могу вспомнить, из какого писателя: «Привычно и целеустремленно пьян»? «Не столько приехавши, сколько выпимши!» — как шутили мы с друзьями-отличниками в новой школе. «Не в замше, но зато поддамши». Работа с Ленькой, видимо, доканала его.

— Я должен... поблаго-дарить... Алефтину Васильевну!

— О! Давай! — я толкнул его в мамину комнату. — Вот, мама. Пришел поблагодарить.

Фека, уже только кивком, подтвердил свое намерение. Мама, как я и думал, обрадовалась.

— А, Фека! Садись.

И он сел. Кстати — на мой стул. Для меня — табуретка.

Мама сидела за столом в сиянии настольной лампы. В круг света падала и младшая моя сестра Оля, тоже за столом, а далее — мы. Исчадия тьмы.

— ...тогда я продолжу? — строго сказала мама.

— Конечно, мама! — сказала добрая Оля.

Мама у себя в институте, будучи председателем профкома, писала стихи к праздникам и ко дням рождения и лучшие помещала в стенгазете, которую рисовала сама. Но жизнь привела ее к прозе. Мама старалась читать ровным голосом, без нажима — как бы это сочинение не про нас. Но нажим все равно был!

«В круг света от настольной лампы вошла девочка с волевым лицом и упрямым лбом.

— Мама! — взолнованно проговорила она. — Я не понимаю, как образованный человек, доктор наук, член партии может бросить семью, в которой дети еще не кончили школу и не определили свою судьбу!»

Наверное, я должен спиться по этому сюжету? Не обещаю! А вдруг сейчас пойдет текст про меня? Перетерплю. Рассказ уверенно клонился к тому, что заблудший отец в конце вернется и покается... и слышать это было невыносимо. Не вернется он!

— Пардон! На секунду! — я вскочил, выбежал.

Не могу! Все равно слышно. Кинулся к туалету. Наверное, лучше не закрывать, чтобы они слышали плеск струи? Но и это меня не реабилитирует. Я шел назад... и остановился у двери.

— Да-а! Душевно, Алевтина Васильевна!

Рецензент! Я был убит. Кого я привел в свою жизнь?

— Вот видишь, Оля! — произнесла мама. — Я говорила тебе — у Феки есть душа! Он все понял!

Стоп! А у кого, значит, ее нет?

— А как же, Алевтина Васильевна, ваш сын? — проговорил Фека. — Пусть едет, разберется с отцом. Я пацанов могу подключить.

— Не надо, Фека! — вздохнула мама. — Он ничего не хочет. Я давно поняла: у Валерки закрытая душа.

Ничего себе. Мама говорит! Толчком, видимо, послужило то, что я съездил к отцу в Суйду уже после того, как они развелись. И — ничего не рассказал. Но зато взял у бати деньги, которые он мне сунул, смущен-

но проговорив: «Это тебе на год!»! Но каково это маме? Говорила всю жизнь: «Егор безграмотный!» Так чего же ждала? А он, при этом, — доктор наук, автор знаменитых сортов проса, ржи! Поэтому и мои успехи она как бы не замечает: «вылитый Егор». Какой я еще могу быть? Отца я на веревочке не привел — души нет. Мама права.

Фека трагически молчал, чем подтверждал ее мысли. Ход его!

— Можете рассчитывать на меня, Алевтина Васильевна!

— Ну, что ты говоришь, Фека! — она засмеялась.

Что-то я разгорячился... Но жить надо. И возьми себя в руки. Я открыл дверь и вошел, с фальшивой улыбкой, как и положено человеку с закрытой душой.

Фека, весь выложившись, дремал. И впервые я поглядел на него с завистью. Если бы я столько выпил — тоже, может, был бы с открытой душой? Нет. Наверяд ли.

— Все! Подъем! — я растолкал Феку. — На выход! Мама, я провожу его?

Мама вздохнула. Конечно, грустно расставаться с душевным парнем. Но не селить же у себя? Спустил Феку с лестницы. В хорошем смысле. И когда мы вышли, я рассказал небрежно о суйдинских впечатлениях.

— Ха! — произнес Фека небрежно. — Приезжай завтра на Шкапина — все будет!

Ну, просто добрый ангел нашей семьи.

7.

И я поехал на Шкапина. Ни черта тут не обнаружить. Закопченные паровозным дымом дома без каких-либо указателей. Друг мой предупредил, что рядом находится — не отличить — аналогичная улица Розенштейна, тоже революционера. Но там — враги. «Могут на перо взять, легко». Конечно, заманчиво. Но приехал я за другим.

«А шкапинские, что ли, меня пропустят?» — «Сошлись на меня. Меня любая собака знает!» — «А вдруг она с Розенштейна забежит?» Но это жалкая моя шутка была оставлена без ответа.

Смотрю... Встречаются дома с выбитыми стеклами, необитаемые. Табличек ни на одном доме нет. И день неудачный, холодный. То ли дело — удушливая атмосфера кинозала в родной Суйде! — вспомнил с тоской. Даже метро «Балтийская» с его серо-холодным вестибюлем, вызвавшим у меня озноб, когда я там вышел из вагона, манила обратно своим светом и теплом. Но если возвращаться — не приеду никуда никогда.

И я шел — не по враждебной ли улице? Впрочем, и шкапинские могли меня «принять»: Фека, я чувствовал, преувеличивал свою власть. Где

обещанные доступные красавицы? Прошло лишь непонятное грязное существо неопределенного пола — и все.

«Кончай сухой мандеж!» — как говаривал Фека. И я вошел во двор с цифрой тринадцать. Без названия улицы. Смерть? В углу неприветливого двора стояла шобла. Каждая эпоха находит правильные слова для сборищ и правильно одевает: поднятый воротник, скрывающий лицо, зловещая вспышка сигареты, натянутая кепка, чтобы не запомнили, если что... Как раз «если что» мне и светит. Смотрятяся!.. Шпанский шик! Но у меня не было ощущения, что я приближаюсь к блаженству. И надо их как-то опередить!

Спертый воздух хулиганских дворов. И вот огоньки завспыхивали чаще: надо скорей докурить — и за дело. «Карась заплыл!» Бежать было бесполезно — наряду с другими отточенными навыками той поры отлично работали всяческие подножки, подсечки, после чего преследуемый не падал, а влетал головой в какую-нибудь каменную стену, разбивал лицо в кровь. А если «кровянка» — значит, враг. Дальнейшее предсказуемо. Поэтому я сам кинулся к ним.

— Парни! Клево! Нашел вас! Где пузырь тут купить? К корешу иду — не с голыми же руками?

— А что за кореш? — поинтересовался длинный.

— ...Да Фека Шашерин! — я сплюнул.

Чтобы можно было еще повернуть, что я ищу его с целью мести.

— А-а! Этот! — орлята переглянулись, как мне показалось, зловеще.

Я похолодел. Розанштайновские? «Сейчас тебе оторвут самое то, что тебя сюда привело!» — я пытался острить, хотя бы с самим собой.

— А сам ты чей?

— С Лиговки!

Еще плевков.

— Не мути! Я там всех знаю! — сказал самый «возрастной».

Но тут из парадной вышел Шашерин.

— Пошли!

С шоблой не поздоровался. Хоть и шкапинские, родные!

— Мелкая сошка! — ответил на мой вопросительный взгляд.

Но и эти мелкие могут вломить — спиной чувствовал. Напряженно здесь. Шли наискось через пустырь. Последнее тепло выдувало ветром. Всякое желание — тоже. Да, затяжные тут «любовные игры».

— Я понимаю, что я по деньгам тебе задолжал.

— Возьму натурой.

— А! — вспомнил он с неохотой. — Тогда тебе сюда! — пренебрежительный жест в сторону общежитий, выстроившихся в ряд.

Бульвар наслаждений!

— Разберешься?

— А есть что-нибудь экзотическое? — я стал фасонить.

— С прядельно-ниточного комбината — устроит тебя?

— Безоговорочно!

Мы вошли в предбанник общаги.

— Лучшие, конечно, намотчицы! — уверенно Фека излагал. — Шпульщицы... нормальные. Сновальщицы... Ничего. Ну, тазохолстовщицу учить надо, от «а» до «я»! Тебе, я думаю, надо лет под шестьдесят, с опытом! — духарился он. — Ну как, баб Нюру, — обратился к вахтереше в ватнике, — нравимся мы тебе?

— О! Нафраерился! С чего это?

— Бросил пить и приоделся! — произнес Фека лихую присказку, с которой прошел потом всю жизнь. — Ну что, баб Нюру, пропустим ученика? — кивнул на меня.

— Я и тебя-то не пропущу! — свирепо проговорила она. — На танцы в школу иди!

Я почувствовал вдруг огромное облегчение... Откладывается!

— Пойдем. Тут, видимо, по талонам! — сказал я.

— Ладно! — Фека дернул меня за рукав. — Финт!

Мы вышли на крыльцо, и тут же он вернулся назад.

— Баб Нюру! — закричал он. — Там эта ваша... валяется!

— Так кто ж это такая-то?! — она выскочила.

И мы прошли.

— Финт ушами! — прокомментировал Фека, подмигнув.

Кто не знает: «финт» — это обманное движение в спорте. Однако никого, кроме бабы Нюры, в этот вечер нам обмануть не удалось. На третьем этаже в «Красном уголке», где проходили предварительные знакомства, вместо желанных гурий нас встретили курсанты морского училища. «Как прошли бабу Нюру?» — задал я наивный вопрос. «А кто это?» — был ответ. Им, проходящим практику на парусных судах, не было проблемой попасть на третий этаж через фасад. Наш «финт ушами» лучше было даже не обнародовать. «Не любите, девки, море, а любите моряков, моряки дерутся стоя, у скалистых берегов!» — вот что пришлось нам узнать. После короткой «терки» мы были выброшены — к счастью, не через окна, в которые проникли они, а «сухопутным путем», по ступенькам. Слегка приведя себя в порядок, мы вышли.

— Спасибо, баба Нюра! — небрежно бросил Фека, выходя.

— Не за что! — насмешливо проговорила она.

Мне показалось это обидным. И Феке, видимо, тоже.

— Ничего! — зловеще произнес он. — Пиши адрес!

И он, подчеркивая свое всемогущество, сплюнул.

Путешествие поначалу казалось не очень удачным, но оказалось — кровавым. Закончились улицы, а трамвай все шел. «Ни одного встречного трамвая! Путь в один конец?» Но уныние — это еще цветочки. Есть страдания посильней. Дом Нельки, деревянный барак, был на виду. Еще говорят — «на юру». Цепляешься за слова? Не помогут! Коридорная система. Первая дверь. В испуге стал колотить. Открыл могучий рябой мужик в подтяжках. Угрожающе усмехнулся.

— К тебе, что ли? — крикнул он, обернувшись.

— Дом выстудил! — появилась Нелька в халатике.

Первое впечатление... яркая!

— Придавить его? — мужик показал на меня.

— Иди, Вася! Жена заждалась! — Нелька была в ярости.

— Все делай, как я сказал! — произнес он грозно.

— Потом! И — за углом! — дерзко отвечала она.

Мне Нелька определенно нравилась.

Мужик, усмехнувшись и надев какую-то непонятную униформу, ушел.

— Ну? — Нелька повернулась ко мне. Красивое лицо. Сама щуплая.

— От Феки! — я произнес. — Велел, — тут я слегка замялся, ища удачный синоним.

— ...дать? — подсказала она.

Я задумался. Этот синоним мне тоже не нравился — но мы же не на конференции?

— Пожалуй, да! — благожелательно произнес я.

Похоже, мы найдем общий язык... Но язык-то я как раз прикусил в результате удара. Хлестко. Отработано.

— На! — воскликнула она.

Я залился кровью. И вылетел в общий коридор. Умылся в многоместном сортире и, шмыгая носом, ушел. Настроение, как ни странно, было отличное. И что-то подсказывало: не назови я Феку, могли бы быть варианты... О, да!

Фека явился ко мне и, что радовало, тоже с разбитым носом. Вышла и мама.

— Здранныствуйте, Аленнтина Васинньевна! — гнусаво (нос опух) проговорил Фека.

— Вы что — носами столкнулись? — весело сказала она.

— Да! В темноте! — мрачно проговорил Фека.

— Ты темным делам Валерку не учи, понял? — пригрозила она.

— Скорее, я его научу светлым! — пообещал я, даже не подозревая, что говорю правду.

9.

Я читал книгу — и вдруг какой-то резкий звонок! Телефон — давно это заметил — звонит по разному.

— Валерий!

Голос мамы. Но почему так строго? Из какого-то учреждения звонит? Да! И причем — из какого!

— Я в милиции сейчас нахожусь!

Первый был испуг: маму ограбили. Фека? Но не такой вроде он человек. А какой же?

— Я сейчас приду.

— Отделение на улице Розенштейна.

— Розенштейна? Это опасно! — вырвалось у меня.

— Я знаю! — хладнокровно сказала мама. — И даже знаю, что ты здесь бывал.

Фека накапал... Ну, друг!

— А что случилось-то? Может...

— Приезжай! — оборвала она.

Была у нее такая привычка: не дослушивать. Знала наперед — и все остальное отвергала.

Примчался. А вот и друг. Чем-то снова обижен. Несправедливостью! Чем же еще?

На столе милиционерши, правда, лежали шуба рыжего цвета и одна интересная художественная композиция: разрисованные бумажки, по краям — настоящие червонцы. Талант, Фека-то наш! Отец «кукол»!

— Вот — настоящий фармазон растет! — проговорила инспекторша; Фека приосанился. — Раньше у Рябого затырщиком был, теперь вышел на самостоятельную дорогу! У женщины шубу увел.

— Она сама отдала!

— В колонии будешь петь! Вы что-то хотите сказать, Алевтина Васильевна?

— Ты позвонил мне! — мама обратилась к Феке. — И зачем?

Что удивительно — с мамой он заговорил совершенно иначе.

— Да заставили меня! Заболел там... один. Я учиться хочу.

— Чему? — спросила мама.

— Вот, — и он почему-то указал на меня.

— Это похвально! — произнесла мама. — Да, — она повернулась к инспекторше. — Мы с Валерием ручаемся за него. Берем шефство!

— А ты, Валерий, что скажешь? — спросила инспекторша.

— Готов! — сумев подавить ярость, произнес я.

И как всегда — податливость наказуема!

— Как же ты допустил такое? — накинулась она на меня. — Твой друг прогуливает школу, хамит учителям, а недавно был уличен в краже денег у учащихся. Твой друг!

Для дружбы, я бы сказал, это опасно. Особенно — бесцеремонность его. Насчет тех, «кого мы приручили», граф Экзюпери, я думаю, погорячился. И если бы не мама... с комсомольским задором ее!

— Аттестат зрелости он получит у нас. И за поведение мы тоже ручаемся! — опередила она мой ответ. С которым я, собственно, и не торопился.

— Мы — команда! — Фека вдруг вскинул кулак.

Где научился?

На первое наше занятие он вообще не явился, на второе — еле дополз, с опозданием на час. И тут впервые увидал меня в ярости — и даже испугался. Хотя шкапинские, по его мнению, не боятся ничего.

— Слушай! — сказал я. — Ради тебя я не буду менять свои планы ни на миллиметр. Буду учиться сам. Если захочешь присоединиться — давай. Или иди, куда шел!

Он морщился, как лимон, который выжимают. Всеми командовал (или так казалось ему), и — вот! Какой-то недомерок учит. Ростом, кстати, на голову выше его.

— Ну, рассказывай... что там у тебя? — разрешил он.

10.

Почти закончили школу! И вдруг — оглушительно длинный, мучительно знакомый звонок в дверь.

— Ураганим!

— С какой радости?

— Она послала меня! Во! — он разжал кулак. Там сияло кольцо. — Хотел ей!

— Квитанцию покажи.

— Шкапинские берут без квитанций. Сейчас в ломбард — и заураганим.

— Нет. Где его взял — туда и неси.

— Аж прям! Или мильтоны возьмут — или наши порежут. С завода взято! Рябой выносит. Обратного не берет. Ты хочешь, чтобы я Рябому вернул?

— Боюсь, что у меня нет никаких желаний, связанных с тобой.

По малограмотности он принял это за «без проблем».

— Лады! Сдам в ломбард, там наш человек, и — ураганим!

Чтобы нас взяли вместе. Оказывается, это он взял шефство надо мной!

— А что Нелька?! — вдруг вырвалось у меня.

Что это со мной? Неужели — чувства?

— Говорит — с краденым кольцом не венчаются!

Он почесал фингал. Нелька молодец! Любуюсь ею!

— Ураганим!

— Спасибо за щедрость. Но я в тюрьму не хочу. Другие планы.

Я маме решил это рассказать, после колебаний.

— Да, я в курсе уже. Зотова звонила. Рябого взяли. Теперь ищут кольца. Я уже позвонила Ваське Чупахину...

— В санаторий Феку? Гениально!

Мама подняла тонкую бровь. Так делала всегда, если сердилась.

— Ему другой санаторий светит, на Севере. Восемнадцать уже есть ему, второгодник заядлый. Велела Ваське все его связи напрямь, чтобы прямо сейчас, не дожидаясь призыва, забрали Феку. А ты собираешься что-то предпринимать?.. Ясно! — закончила разочарованно.

Вспомнила, видимо, какой я!

Фека пришел на другой день, взбудораженный.

— Прикинь! Прокатило. Менты в ломбард — а кольца там нет.

— Знаю! — чуть было не сказал я.

— Кто-то выкупил его!

— А кто бы это мог быть? Не догадываешься?

— Не! — он даже зевнул.

Широкая душа мелочами не заморачивается. Прокатило — и все. Меня это как-то задело.

— Это твой ангел был. Оцени! И живи теперь так... чтобы не было ему стыдно.

— Да-а?! — Фека был потрясен. На святое любая душа ведется.

— И смотри, чтобы он не бросил тебя! Так что ты отныне святой.

Святостью я, кажется, его перегрузил.

— Прикинь! И тут же повестку в армию принесли. Во совпадение!

— Совпадение тоже кто-то организует. Это тебе от Чупахина привет.

— Ну, Васька! — Фека утер слезу.

Я скромно молчал.

— Ну чего? Ураганим? — жизнерадостно предложил он.

— А иди-ка ты... в армию! — сказал я.

— А ты знаешь, под чьим началом Фека будет служить? — мама смеялась. — Того самого Леньки, которого он в Сочи таскал. Я думаю, что теперь Ленька должен пылинки с него сдувать! Армия, конечно, не Сочи, но все же Феку мы с тобой спасли!

— ...Спасибо, мама.

И мы с ней даже выпили — за все хорошее... И все сбылось.

11.

Я четко шел на золотую медаль, но кое-кто сумел разглядеть мое «второе лицо». Даже я про него на время экзаменов забыл! Зло особо опасное, потому что скрытое! — такими разоблачениями увлекались тогда. И Елена Георгиевна, преподавательница английского (гордящаяся своей принципиальностью), сумела-таки меня разоблачить и на выпускном экзамене вклеила четверку. Раскусила меня! Хотя «на первый взгляд» я отвечал хорошо — но она смотрела глубже.

Наша классная, Людмила Дмитриевна, увидев меня, кинулась в экзаменационную, где услышала приговор: «Он ставит себя, как отличник, а знает на четыре!» Тоже верно. Хотя «ставить себя» тоже надо уметь. Пролетаю! Но еще не пролетел?

Я пришел домой. Длинная комната была залита солнцем. Бабушка только помыла пол, и старые желтые половицы слегка «дымились» и пахли гнильцой. «Надо все запомнить!» — почему-то подумал я. Определяется твоя жизнь. Без золотой медали хана. Я могу играть только роль отличника! Для остальных... не хватит органики, и ты всюду провалишься. Мысль работала необыкновенно четко. У тебя — час... если еще результаты не отослали в РОНО. И ты прекрасно уже знаешь, что делать. Иди! Зябко? А как же!

Везло мне когда-то! Красивая улица Чайковского, одна из любимейших, вдохновляющих меня — а не какой-нибудь безликий квартал. Май! Все цветет. Поликлиника с фигурными стеклами, любимого (может быть, с того раза) модерна. Мраморная лестница в стиле «волна». А вот это надо убрать — подсвеченные изнутри стеклянные столбики с цветными фотографиями всяческих язв, последствий дурного образа жизни. «Убери, Еремей!»

В кабинет врача я, однако, вошел скромно. На самом деле я действительно был робок, что кстати. Интеллигентная женщина в белом. И я взволнованно ей все рассказал — имитировать волнение не пришлось.

— А сам-то ты как оцениваешь свой ответ? — строго спросила она.

— Ну-у... Можно было поставить пять! — с обидой сказал я. — Но можно и четыре! — честно добавил я.

— Так сделай так, чтобы было «нэ можно!» — улыбнулась она. — Вижу, как это важно для тебя... Поэтому ставлю тебе пять!

— Где?!

— В справке. Пишу: тридцать восемь и пять.

— Обещаю, вы не пожалеете!

И обещание держу.

В кабинете директора был траур. Собрался весь педагогический состав. ЧП! Укатилась медаль, которая бы украсила школу. Тут же сидела и Елена Георгиевна, ее тоже сумели расстроить. Когда я, стерев улыбку с лица, скорбно положил справку — просияли все. Не скажу про Елену Георгиевну. «Подготовился!» — проговорила она на пересдаче, с легким презрением к приспособленцам.

12.

И сделанное усилие направило жизнь, куда надо. Я легко поступил в ЛЭТИ, особенно легко потому, что с золотой медалью — без экзаменов. Вокруг оказались самые лучшие — институт был тогда одним из самых притягательных. Веселые, умные ребята, и кстати, прелестные девушки, идущие навстречу благородным порывам.

Однажды мы задержались с друзьями и подругами у меня на несколько дней (мама уехала в Москву к Ольге, вышедшей замуж), и вдруг рано утром тревожно запела дверь, и мы застыли с фужерами в руках. Картина «Завтрак на траве», без «ню». Было ясно, однако, что девушки не приехали на раннем метро. Бутылки сияли в лучах рассвета. Мама молча кивнула и прошла к себе.

— Это конец? — спросил Слава, мой друг.

— Давай, Слава! Иди! Мама тебя любит! — подтолкнул его я.

И Слава пошел. Минут через пять я подкрался к маминой двери, припал.

— Да что ты, Слава! — весело говорила мама. — Я вовсе не волнуюсь! Я знаю — Валерка умеет пить.

Эта была одна из самых важных фраз, услышанных мною от нее, за что я ей вечно благодарен. Если бы она еще так же верила в мой талант! Но с этим сложнее...

13.

Нет ключа, ча-ча-ча!

Все неприятности начались с переезда на окраину. Или я просто все «валю» на переезд? Что в нем плохого? Маме с выходом на пенсию дали

квартиру — четырехкомнатную! За заслуги. И это приятно. Признательность, почет! Но мама, вкусив почестей, тут же укатила в Москву — воспитывать внучку, дочь сестры Оли. А Нона с дочуркой, даже сюда не глянув, подались к теще, в упоительный Петергоф, где все было рядом. А тут, куда ни кинь, далеко. Чем я и воспользовался: уволился. Где это видно? Полдня на дороге! И куда, главное: НИИ рубах! Так мы с друзьями иронично прозвали учреждение, где проходили практику, но когда нас распределили туда... Смеялся один я. Лазером рубахи кроить! Друзья подошли серьезно, честь им и хвала! Жизнь надо строить, семью. Количество рубах, созданных ими, позволило всех одеть. И без ниток — все лазером.

А чем похвалишься ты? Сам-то кто? На этом как раз стоит гриф глубокой секретности, недоступный и мне! Агент без примет! Так и помрешь! «Что-о-о?! Это кто на меня бочку катит? Да меня сам Костюченко на свадьбу звал!»

Конечно, моим рубахам-парням я не говорил, что хочу куда-то там вознестись. Неловко. Внешне изобразил так, будто я опускаюсь. И вы знаете — удалось! Все поверили! Даже мать! Получилось блистательно. Но ликую один я. Причем редко. Чаще — смотрю на себя в зеркало... Бомж! Причем — бомж при квартире. Сплю на тюках. Так и не распаковал. Зачем? Вряд ли моя семья ко мне приедет. Разве что мама, бедная, посмотреть, что стало с ее недвижимостью, которую дали ей за безупречные годы. Лежал на нераспакованных узлах и дочуркиными фломастерами на своих холщовых китайских брюках, закинув нога на ногу — писал! Что? Неважно! Стихи! Одна штанина уже вся исписана, другая — ждет.

Упиваюсь дикой свободой... как бы. Вот сегодня — метался во тьме по гнилым, склизким пустырям, как Маугли. Но только вместо дикого барса — собаки. Дождь колотил, переходящий в снег. Дважды падал. Вот так, наверное, и выронил ключ. Нет ключа! Ча-ча-ча! И теперь уже хаос, что за дверью, раем казался. Да и не будет у тебя больше ничего. Соглашайся! Все счастье твое — вот за этой халтурной дверью. На площадке маму подождать? Ну, нет! Разбежался, два шага — и плечом в дверь! И она вылетела. Легче, чем пробка! Смешно. Жалкое препятствие в моей плодотворной работе. Две фанерки, а между ними — труха. Брезгливо вынес на помойку, чтобы не отвлекала. Смешная вещь. Маме скажу — украли. Скоро обещала приехать. Порадую.

Я деловито упал на тюки, закинул ногу, фломастер схватил — и вдохновение пришло: «Нил. Нил чинил точило, но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело».

На штанине писал! Эпитафия. Годится и для меня. Звонок! Хочется сказать — в дверь.

— Входите!

И даже волосы пригладил. А вдруг — чего? Представил себя глазами входящих. Бр-р-р! Мама хотела видеть меня аспирантом!.. И — вот. Валяюсь, как куль! Сердце заколотилось. Присел. Вошла женщина. О красоте не будем. Почтальон! Хорошо — не мильтон. За кражу собственной двери могут и привлечь! Такие вот мысли. Одичал тут.

— Распишитесь!

— ...Мама приезжает! — прочитав телеграмму, поделился я.

Мол, не совсем уж дикарь.

Она огляделась.

— Вот и порадуется! — усмехнулась она.

В этом не сомневаюсь. Только радость ее будет выражена в форме гнева. Оставила под моим присмотром свою недвижимость! А у нее даже двери нет.

Сидел почему-то в прихожей. Наказывал себя. По ускоренной системе. И не у кого помощи просить. Рубахи — парни? Носы зажмут. Стерильность у них там. Передовыми технологиями владеют! Костюченко? Машину себе купил! Не приедет. Есть правда, один тип, из темного прошлого. Должок за ним... Может. Подумает — есть что украсть. И я разочарую его! И скажу: «Видишь, до чего я дошел? Пришла твоя пора меня выручать!»... Щемяще! «Сходи укради дверь. Для друга. И вернись туда, где ты, возможно, и провел это время!» Гуманно! А может — и в армии служит, и наверняка и там сумел протыриться, куда надо. Армия учит другу помогать... Да нет его в армии. Дисциплина не для него. Скорее — строгий режим... Куда же ты это Феку загнал? Не жалко?

С волнением шел звонить. Последняя двушка. Последний патрон... как говорится, для друга берег.

— Алло!

Сам голос свой не узнал. Охрип. Полгода не разговаривал.

— Алле-е! — именно через «е».

Старуха! Соседка? А может — это его мать? И скажет сейчас страшную правду? Пусть. Все равно страшнее реальности ничего нет.

— Феоктиста можно?

— А кто это?

«Кто это» — это про меня или про него? Не знает такого?

— Шашерин Феоктист... жилец ваш!

— А его нет.

— А когда будет?

— ...А какая разница? — разговорилась она. — Если придет — то пьяный. Баба его не любит его!

Нелька! Он!..

— Запишите адрес... Да не его, а мой! Улица Верности, дом 16... Квартира? Семь. Жду! Приколите это на его дверь... Чем? Шилом!

Короткие гудки. Интересно — в каком образе явится? Неужели так опустился... как я? Скоро будем шамкать. Сердце ожило! Аж даже слышно его...

— Валерий! Ты жив? — мама появилась раньше, чем я думал. Быстро добралась.

— Жив, жив... — растроганно повторял я. — Ну... проходи в свою комнату!

Там дверь, к счастью, есть. Огорченная мама прошла прямо в пальто!.. И долго не выходила.

— Вот, учись, Нелли Викторовна, как надо жить! — услышал я наглый говорок.

Фека! Я выскочил в прихожую. Но он словно не видел меня. Может, я невидимка? Или он ослеп? Обращался исключительно к ней... Нелька! Но моего восторга никто не разделил, даже и не заметили!

— Вы все тянетесь к роскоши, а интеллигентные люди без дверей живут, подобные мелочи их не колышут!

Сколько он еще должен куражиться? Может быть, мне уйти? Но тут открылась дверь в мамину комнату, и появилась мама, как Афина Паллада.

— Ну здравствуй, Феоктист!

— О, Алевтина Васильевна! — воскликнул он в восхищении.

Сразу прозрел, увидев фигуру... равную себе. А я так, под ногами! Но настал вдруг и мой черед.

— Так-то ты заботишься о своем друге!

— Да художественная натура, Алевтина Васильевна! — по-прежнему на меня не глядя, все-таки оценил.

— Но ты-то нормальный!

Теперь у нас такая градация: художественная натура — и нормальный. И он, конечно, лидирует. Фека базлал в яркой блатной манере, когда, стирая кого-то, о человеке говорят, как об отсутствующем, в его присутствии.

— Да забился куда-то ваш сынок! Все люди на виду! А его еле отыскал — не слышно, не видно!

Где это, интересно, меня не слышно, не видно?

— Где трудишься, Фека? — дружелюбно мама спросила. — Вижу — не бедствуешь.

— Бросил пить и приоделся, Алевтина Васильевна.

— А где числишься?

И меня, видимо, надеялась пристроить.

Его «фишка»!

— Есть такое смешное госучреждение — называется Худфонд.

И взмахнул артистической гривой. Так я и знал... что культуру грабит!

— Художник? — усмехнулась мама — ...Маринист? Баталист? По следам службы в армии?

— Берите выше! Благодетель... шантрапы этой! — и на меня глянул, покровительственно.

На колени рухнуть? Для меня — не проблема. Самолюбие мое не в коленях находится.

— Можешь поставить дверь... другу? — мама сразу взяла бычка за рога.

— Дверьми как-то не приходилось, Алевтина Васильевна... Но ради Вас!

Ручку чмокнул. Банкует!

— А что это за дама с тобой? — мама решила ответить любезностью на любезность. — ...Познакомь!

— Да это так! — Фека махнул рукой.

Что его и погубило. Нелька резко вышла.

— Ну хорошо, Фека! Я тебя больше не задерживаю! — проговорила мама и ушла к себе.

Когда я выскочил во двор, Фека уже стоял, закинув голову, и жадно пил свою кровь из носа. А Нелли водила своим остреньким кулачком возле его задранного подбородка.

— Еще?

Фека отрицательно замычал, но, увидев меня, снова загоношился, захлебываясь кровью.

— С тебя семьсот за дверь!

— Отлично! — я захохотал; узнаю друга. — А я думал — подарок, по случаю нашей долгожданной встречи!

— Подарки знаешь, где у тебя будут? В другой жизни!

Но тут Нелька пихнула его, чуть он не свалился:

— Ид-ди.

...И где дверь? Но это же Фека! Через неделю «заскочил». Еще один такой заскок — и я его зарезу... оконным стеклом!..

— Слушай! — нога на ногу, голова откинута. — Не хочешь маленько погулять?

— С тобой?

— ...Нет. Один.

— А зачем?

— Нелька сейчас подъедет!

— А-а. Так у меня даже двери нет! — вскользь заметил я.

— А ей это пофиг. На, поешь! — дал мне червонец. — Потом отдашь.

И ты мне еще должен семьсот за дверь.

Которая вряд ли когда-то будет. Поскольку всем пофиг. Включая меня. Хотя — в его поведении смысл есть: пока двери нет — я его принимаю. Была бы дверь — я бы его не пустил. И он блатным своим нутром это чувствует.

И я жадно ел на его грязные деньги в ближайшей забегаловке! Докатился. Содержу притон! Точнее — он меня содержит.

Но вскоре Нелька (золотая моя) в жарких объятьях моего друга стала замерзать и потребовала поставить дверь. Я сам лично подслушал! Вот кто ангел-то мой!

— Понял! — буркнул Фека.

Они ушли. Как раз мама собирается приехать! Жду. И вскоре раздавалось какое-то дребезжание на ступеньках. Железную тащит? Ну, Фека! И вот она появилась. На железных колесиках! Зачем колесики-то? Но это и породило идею в беспокойной моей голове.

— О! С колесиками! А зачем они?

— Да это тележка такая. Развозка. Картины возим на ней. Могу, кстати, тебя грузчиком взять. Пол-оклада мне. Как?

— Может быть, позже. А сейчас у меня предложение к тебе. Купи дверь! Умел и я поразить его.

— Какую дверь?

— Да вот эту!

— Так я ж только что ее прикатил!

Явно не поспевал за стремительностью моей мысли.

— Вот и купи! Ты говорил — семьсот?

— Какие семьсот? Да я ее на помойке нашел!

— Спасибо за откровенность... Тогда — двести.

— Зачем мне она?

— Ну... на выставку поставишь. Продашь!

— Она что... арт-объект?

— Сделаем!

Я выхватил фломастер, которым на портках рисовал, и написал на двери, приговаривая:

— Нил. Нил чинил точило. Но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело... Расписаться?

— Ну... распишись, — неуверенно проговорил он.

— Расписался... Погнались!

И мы, не снимая объект с развозки, покатали через пустыри. И — вкатили в Худфонд. Выставочный зал. Вышел какой-то тип и покачал головой. Фека пошел за ним и скоро вышел.

— Не признают произведением искусства!

— Жаль!

— Говорят — катись на выставку неформалов!

— Куда?

— К мыловаренному заводу.

— Опоздали! — с сожалением проговорил мильтон. — А то бы и по вашему арт-объекту бульдозером прошлись. Завтра приезжайте пораньше.

— Лады!

И вдруг Фека воскликнул:

— О! Арт-объект!

— О!

Причем — коммерчески успешный! Какой-то лохматый катил тачку. Туалет на колесах: внизу бочка, сверху будка! И этот арт-объект почему-то не преследовали — вернее, преследовали, но совершенно по-другому: за ним бежала толпа, точнее, очередь. Ближе к жизни надо!

— Это же... золотое дно! — вскричал Фека.

Смекалка никогда не подводила его.

— Отнимем? — предложил я.

— Давай!

Мы стали рвать арт-объект к себе. Но очередь не одобрила, и нам «вменили». День не очень удачно прошел.

Обливаясь кровью и потом, взбирались с дверью домой... И нас величественно встретила моя мать.

— Где дверь, Валерий?

— Вот, — с достоинством показал ее.

— Раскручивали, Алевтина Васильевна! — Фека вступил.

— Как спутник, что ли? — мама усмехнулась. — Ну — раскрутили?

Теперь ставьте сюда!

Поставили. Честно сказать — с огромным облегчением.

— Умойтесь!

И мы умылись. Сначала в переносном смысле, сейчас — в буквальном.

— Теперь поговорим. Куда ты, Валерий, катишься? Фека-то нет, — добавила. — В который раз выручает тебя?

Интересно — в который? Помнится — больше я его выручал... В дру-
гие, правда, эпохи...

— Все будет в порядке, Алевтина Васильевна! Клянусь. Я ваш долж-
ник. И сына вашего я спасу.

— Ну, тогда, Фека, я спокойна!

И вскоре уехала. Я бы на ее месте не был так спокоен. Что же он удумал?

Звонок. Я открыл.

— Папа, папа! Как я рада, что мы приехали! — восклицала дочурка. —
Какая квартира большая!

За ней, смущенно улыбаясь, вошла Нона.

— Нам Фека сказал, что ты нас ждешь, скучаешь.

Настоящий друг.

14.

— Ты у меня повезешь голову Ленина в Хабаровск!

— Нет. Не повезу.

— Боишься трудностей?

— Да!

— Я не намерен всю жизнь посвящать тебе! Если хочешь — подклю-
чайся к работе, если не хочешь — делай как знаешь!

Знакомые слова. Но только в прошлый раз я говорил их ему. Как все
меняется. Я ему напомнил.

— Так чего ты хочешь-то? — он подобрел. — Времена меняются!

...но как-то удивительно странно...

— Хочу ездить в Москву.

— Это зачем? — он хитро прищурился.

Раскусил! Этого я и добивался.

— Как зачем? — простодушно ответил я. — Продвигать произведе-
ния современного советского искусства в массы!

— Ну, хитрец! — он погрозил мне пальцем.

Заглотнул! Был счастлив, что меня расколол. Но не до самого дна. Про-
стодушен, в сущности... Кукла тут была многослойная. Но зачем это ему?
Он меня, действительно, спас, дал работу, и за это я ему благодарен! И не
будем углублять. То есть — будем. Но — тайно. Отгрузка, сдача. Бухнутья
перед матерью. Но не на весь же день? Раскусил он меня в плане мамы. И
хорошо. И все счастливы. Молодец! Но не весь день — его.

В день отъезда я спросил у дочурки:

— Ты чего, Настя, в школу не спешишь?

И она вдруг заплакала:

— Там все смеются надо мной!

— Да? А из-за чего?

— Из-за тетрадок моих!

— Ну — это ерунда. Устраняемо!

— Не-ет! У всех девочек глянцевые тетрадки, а у меня шершавые. Перышко цепляется. Кляксы!

— Так давай купим глянцевые!

— Их у нас нет. Только в Москве! В одном единственном магазине, — она тяжело вздохнула. — Девочка, которая со мной сидит, написала адрес. Но никому просила не говорить!

— Адрес? Или — что дала его тебе?

— Что дала! — Настя заплакала.

— Ерунда! Она еще позавидует. Еду сегодня в Москву? Сколько тебе? Настя заулыбалась.

Наконец-то появился высокий смысл! Сдав груз, я мчался по московской утренней улице и вбегал первым в крохотный писчебумажный магазин. Только там!

— Есть! — улыбалась уже знакомая продавщица. — Отложили специально для вас! Вы же из Ленинграда специально ездите?

— Да!

Порадовал и их — что они не просто работают, а спасают! И я, выйдя из магазина, гладил разгоряченное лицо прохладными гладкими страницами. И это был, пожалуй, миг самого острого счастья за всю мою жизнь. Спасибо, дочурка!

И тут я увидел через дорогу сделанную из светящихся трубок эмблему любимой «Юности»: силуэт девочки среди листьев, один лист совпадает с абрисом ее губ. Лишь дорогу перейти. Молодец, Настя! Вдохновила!

Кудрявый синеглазый ровесник мой хохотал по телефону, и повесив трубку, еще похахатывал. Отличный момент.

— Ну? Принес? — он, еще сияя, повернулся ко мне.

— ...Нет, — я решил, в виде исключения, сказать правду.

А если бы я сказал: «Принес», — то как бы выкручивался? Ответ мой, однако, понравился.

— Молодец! А то я был в ужасе — у нас как раз обед.

— Ну, видишь, какой я!

— Наш человек!

И мы пошли в ЦДЛ. Начинать надо с этого.

— Давай сядем вот к этим балбесам!

И балбесы оказались на пять баллов.

— Что-то мне у вас нравилось! — один ткнул в меня пальцем.

— Что?! — воскликнул я.

— ...Не помню! Но напишите для нас рассказ — и все прояснится.

Смелый ход... Но — «думать нам, красивым парням?»

— Согласен! А кто вы?

И он назвал эротический журнал и с усмешкой спросил — ...Испужалси?

— Нет... Но у вас, наверное, — насилие, секс? Впрочем — можно и... — тут я заткнулся.

Он как-то лениво задумался... потом зевнул и покачал головой.

— Не-а! Честно говоря, секс нам надоел, как фрезеровщику стружка... Напиши что-нибудь поучительное, про жизнь.

15.

На одной из молодежных конференций, которые уже казались однообразными, я вышел из гостиницы с соучениками, чтобы ехать на «Мосфильм». В плане особого доверия к молодежи — нам обещали показать знаменитый, но не выпущенный в прокат фильм этой кинофабрики. Но я предпочитал жизнь. И считал себя ответственным за свои, а не чужие произведения. С такой установкой — я не спешил лезть в автобус, и в поисках впечатлений озирался по сторонам. В толпе, ожидающий своего счастья, я увидел сладко зевающую пышную блондинку, иногда зябко вздрагивающую. Не выпалась! И куда-то ехать, спать в холодном зале, одной ей явно не хотелось. Так же, как и мне.

— Может — лучше доспим? — я зевнул рядом с ней.

— Где? — кокетливо отозвалась она.

— Да лучше всего, я думаю, в номере, — предложил я. — Ваш номер какой?

Она назвала.

— Только купите... чего-нибудь... снотворного! — усмехнулась она.

— Вы едете, нет? — высунувшись из автобуса, крикнул руководитель.

Мы отвернулись.

В предчувствии сюжета, еще не представляя, какого риска он потребует, я постучал в номер с коньяком в руке. А если бы представлял, как будет — постучал бы? Да. Коньяк стоил десять рублей. Хозяйка открыла, даже не глянув на меня, и вернулась к телефону на столике.

— Что ты говоришь? Боже! Я потрясена!

Я и не приступал, а она — потрясена! Впрочем, сделала жест лилейной своей дланью:

— Ставь!

Насчет меня как субъекта указаний не было, но я все же сел. Телефонный разговор ее длился минут двадцать, пока я не нажал пальцем на рычаг.

— Ты чего? — воскликнула она.

— Я уже здесь, — скромно сказал я. — Стаканы, пожалуйста, принеси.

Надувшись, она принесла стаканы, причем — два, что вселяло надежды. Я налил. Она хряпнула — без меня! — и снова схватила трубку. Я даже не успел поднять стакан. Нормально?

— ...Олег? Купил новую тачку? А старую не знает, кому продать... Да подожди ты! (Это мне). Да тут... один!

Хотя бы знает количество меня. Уже неплохо.

— Да. Это серьезно! — проговорила она.

И, видимо, в волнении, схватила и мой стакан и выхлестала его, при этом на меня даже не глянув. Знала обо мне только одно — «один», остальное ее не интересовало.

Я накапал еще и предложил чокнуться. Говорят — сближает.

— Да подожди ты! — отмахнулась она. — Олежка Янковский купил тачку, а старую не знает куда деть!

Да. Это серьезно! Видимо, поначалу у меня все же был некий «ымыжд», но на фоне Олежки поблек.

— Еду! — она махнула свою, а потом еще и мою порцию, и скрылась в ванной. Откуда рассчитывала выйти ослепительной. Но не для меня... Смысл тут двойной, что вообще свойственно мне: «ослепительной, но для другого» и «для меня, но не ослепительной».

«Ну что? Сюжет? — соображал я. — ...Нет! Неудачник, обобранный и униженный!» Это не по мне. У меня эстетика своя, а если надо — и этика. Более оптимистические. Резерв в бутылке я не тронул, хотя и тянуло. Пьяный сюжет? Нет! Что я создал тут, за свои деньги? Ничего! Такой финансовый отчет неприемлем! Ярость овладела мной. Она проявляется редко, но резко.

Сумочка ее валялась на столике, сияя стразами. Обладательница сумочки второпях недооценила ситуацию. В десять рублей обойдется ей этот скромный праздник! В стоимость коньяка. Фека бы одобрил. Притом — я еще не беру за доставку. Я уверенно расстегнул молнию на сумочке. Вот он как раз — аккуратный червончик. Венец новеллы! Хотелось бы приписать еще и за доставку, и за стояние в очереди... Но ладно! Художник щедр.

Брякнула щеколда, и вышла хозяйка.

— Ты еще здесь? — проговорила презрительно.

Но презрение ее уже било не так, как могло бы.

— Разрешите откланяться.

— Вали!

Стоимость коньяка, выпитого ею, она узнала лишь тогда, когда мы уже ехали на вокзал. Оставалась минута до высадки — и тут она заглянула в сумочку. Рванулась к руководителю, но тормознула. Ведь он же видел, как мы остались одни... Что с нее еще взяли червонец — информация не очень. Минуту надо было чем-то заполнить. Я пересел к ней и жадно взял за запястье — она как раз начала вставать, и я ее усадил.

— Я люблю Вас! Люблю безумно! Так получилось. Я все тебе объясню! Мы достаточно уже пережили вместе, чтобы перейти на «ты»!

Такое не хочется прерывать. Может быть, еще и деньги вернутся? Автобус подъехал. Я вышел первым, и она царственно спустилась, опираясь на мою руку. «О! Жизнь-то идет! — подумал народ. — Не зря съездили!» Я — точно не зря. Украл сюжет. И так будет с каждым!

Я схватил ее чемодан, выставленный из багажника, и с грохотом покатил его. С одной стороны, ей хотелось покалякать с руководителем, но — стремительно удалялся чемодан. Которым она, видимо, дорожила. И не была уверена, что не теряет его навсегда.

— Эй! — донеслось до меня...

Первая человеческая реплика. Я страстно усадил ее в поезд (увы, не мой!).

— За вафлями! — крикнул я и исчез.

Возможно, она подошла потом к окну. Но долгие проводы — лишние слезы. И никто не испортит мне сюжет!.. Разумеется, кроме меня самого. Впрочем — принимаются варианты...

16.

— Ты потерял голову!

— Неправда! Вот она! — потрогал. Есть.

— Да кого интересуешь твоя голова! Голову Ленина потерял!

— Когда-а? Уже десятую везу. Все нормально... А-а. Разве что это тогда... — Какие-то интеллигентны грузчики приехали. Культурные разговоры вели...

— А где акт сдачи-приемки?

— Да зачем она им? — вырвалось у меня. — Голова то есть?..

— А ты не догадался? На переплавку.

Да-а. Рушится наша идеологическая крыша! Я уже замечал, что головы Ильича все легче становятся. Полые! Без идей! Куклы, в сущности.

— Работать! Работать! — Фека стучал кулаком по столу.

Но кем? Вино в бокале морщилось.

— Но я тебя не брошу! Мы команда! — Фека вскричал.

Слезы хлынули. Ведь это он в последний раз в милиции говорил! И не обманул!

— Будешь работать лично на меня!

— Огромная честь.

— Они не оставляют мне выбора!

— Кто?

— Неважно. Легенду меняем. Жизнь продолжается!

...А ведь это я его спас когда-то!.. Или он бы и так не пропал?

Теперь я возил не произведения искусства, а конверты. И исключительно в Москву. А мне-то туда и надо — по моим делам! Содержание конвертов? Оказалось потом, что это тоже произведения искусства. Но — специфические! Долгое время даже боялся заглядывать! И был прав. Заглянул, на свою голову. «Кукла!» По краям — деньги, посередине... произведения искусства. Награждают сурово. Это я первую куклу везу? Или уже двадцать пятую? Но главное — теперь по глазам все прочтут. Залить срочно!

Мелькали тусклые подмосковные платформы. И вот я выхожу... Китаец! Они отлично владеют кунг-фу! Я держал конверт в дрожащей руке. Его рука не дрожала. Обменялись... «Меня тетрадушки ждут!» Но вряд ли эта жалостливая тирада возымела бы... Тем более, что терадушки уже давно Настю не интересуют... Ушел! Как-то неискренне, мне показалось, улыбнувшись, он исчез. Я шел на ватных ногах... Может быть, действительно, мне к маме поехать, зарыдать? Нет. Жалко маму. И у тебя дела.

Феке я с улыбкой, дружески, про куклу рассказал. Он поиграл желваками. И проникновенно сказал:

— Вот потому-то я друга и посылаю!

Щемящая пауза.

— Спасибо!

Но после тридцать первого раза, когда за мной гнались по запасным путям с железяками в руках — он проникся! Ох, зря!

— Поеду с тобой. Друга нехорошо бросать!

«Что, нас двоих, что ли, не пришьют?» — трусливо подумал я.

Но благородство друзей нельзя отвергать. Что оно даст? Дало многое!

В пути выпивали. Выпив, Фека бывал суров, остро политизирован.

— Идеология — где?

Этого я не знал, ничего такого идеологического, кажется, мы не везли. Скорее... не будем уточнять. Какие-то... артефакты. За которые можно и получить от принимающей стороны... Что — получить? Увидим! Но не

хотелось бы. И я был чертовски рад, что мы с Фекой едем. Впервые! И можно, наконец, на него все это спихнуть! Он автор.

— Хочу сказать тебе... одну тайну! — начал я. — Я ведь не только по делам нашим езжу...

— Знаю. Навещаешь мать. Только вот редко! — сурово произнес он. — Я ж ей звоню!

— Пью! — я оклеветал себя. Чтобы ему угодить.

— Знаю! — положил руку на плечо.

Рука друга. Знает даже то, чего нет. И — верит!

— Залатать хочу эту прореху... С матерью.

— Когда? Сегодня, что ли?! — проворчал он.

— Такое откладывать нельзя!

— Ладно уж. Цени дружбу! — сказал он.

Щемяще! Я даже слезы почувствовал. Но, видимо, неискренние. Версию о тетрадушках я в запасе держал. Настю Фека несколько раз видел, и может усомниться... Но все же я не удержался:

— Даже не знаю, успею ли за тетрадками забежать для дочурки!

И прошла старая версия. Когда чувства разгуляются, разум отдыхает.

— Ладно! Не журись! — произнес он, и мы чокнулись.

И опять слезы в горле. Что-то я стал плаксив. При такой работе — не мудрено. Видимо, искренние смешались с неискренними. Но я все же сумел сказать:

— Тогда я из другого вагона выйду, чтобы не заморачиваться... со встречающими...

— ...Выходи.

А что было делать? Не мог же я ему рассказать, куда я спешу в действительности. Все неоднозначно. Но иначе было не отделаться от него! Как только Фека, в самом начале, вошел в купе и сбросил пальто, я застонал: «Нет!» Серо-буро-малиновый переливающийся костюм, отражающий огни станций. Вещь... от глубины души! По его мнению, этот наряд может решить все проблемы. Но если бы он пошел со мной по моим делам — они бы на этом закончились. На самом деле — я шел в компанию, где решалась моя литературная судьба. Было еще время — встреча в одиннадцать, но извините — я даже на тетрадушки отвлекаться не мог. Лучшее место — зал ожидания.

Стоял. Потом немного сидел. Пора... Встреча должна произойти как можно непринужденнее — так, забежал. Нельзя никого грузить. Нужно, чтобы решение пришло им самим. Появись я с Фекой — это конец. Как он — может выглядеть только парикмахер. Но если я езжу со своим парикмахером — зачем мне премия?

Обрубил, к счастью, хвост!

— О, привет!

— Салют!

До вручения было еще время — и лучше провести его здесь. Казалось бы — на мази, но мало ли, какая случайность. Решение не вынесено еще... И самое страшное, что могло произойти, если бы Фека тут стал объяснять всем роль литературы в наши дни. Но я — от хвоста ушел!

Маме я позвонил в семь вечера.

— Мама! Я премию получил! Сто тысяч! Поздравь!

Но она почему-то строго спросила:

— Ты где?

Неужели Фека уже нагрянул?

— Поздравь! — с мольбой в голосе произнес!

Нет ответа.

—...Скоро буду! — в отчаянии сказал...

Прибыл часов в одиннадцать, и — не в лучшем виде.

— Ну что, мама? Не рада?

Суровое молчание.

— Фека был?

Может, хоть это ее растопит. Но как раз это ее и возмутило. Фека-то был...

— Тебе уже скоро на поезд! — сухо произнесла.

— Откуда ты знаешь? А-а... Ладно. Умоюсь!

Хоть в ванной укроюсь, успокоюсь. Да нет... Кровавая баня! Кругом какие-то окровавленные бинты, тампоны, рваная рубаха его...

— Извини! — постучавшись, вошла мама. — Не успела убрать. Это ты виноват!

— Думаешь, плюхи бы на двоих распределили, и каждому — меньше?

Молчит!

— Фека в больнице?

— Почему? — надменно подняла тонкую бровь. — Просто я оказала ему первую медицинскую помощь! Были в вузе у нас военно-полевые курсы. Кое-что помню еще!

Она улыbnулась, наконец! Но не благодаря мне.

— Ты что... Собираешься это стирать? — изумился я.

— Не в крови же на помойку выбрасывать. Слава богу, соображаю еще...

Да. Неожиданный вечер.

— Какая-то там случилась катавасия у них! — махнула рукой, почти весело.

Трудную точку, кажись, прошли.

— Куклу хотел всучить! — вырвалось у меня.

— Он куклами занимается? — мама оживилась.

Пикантная подробность. Вспомнила молодость.

— Да. Увлекается! — вынужден был признать я.

— Ну, Фека! — мама покачала головой. — А говорил — стоял на вершине мраморной лестницы, и на него орды иноземцев ползли — и скачивались от его ударов! А он стоял. Рубаха свисала клочьями. Только манжеты остались. А враги ползли. Но постепенно вырубались... Его слова. По его версии, — мама была оживлена, как никогда, — это его обманули! Он за правду стоял!

Как его-то можно обмануть, с куклой за пазухой? А ведь можно! Интересная мысль...

— А на самом деле, — мама совсем помолодела, смеялась, — думаю, отметили его в парадняке за очередную его аферу — и все!

Такая версия ее тоже бодрила. То есть — иллюзий не строила... Но почему-то любила! А мне все же хотелось тему сменить. Все-таки я у мамы, и скоро на поезд.

— Я вот тут... получил!

Я разверз конверт, набитый купюрами. И настоящими, что интересно! Или — нет?..

Восторга не было. Я уже привык. Надо же маме что-то делать с ее горем, вот она и придумала: «Георгий ничего так и не добился. И Валерка такой же!» Для убедительности — добавила меня, с этой жалкой премией, доставшейся мне через глубокое падение... Ну, что же. Не буду ее сбивать. Не стану героем в ее глазах.

— Да, кстати! — сказала уже сухо, уже для меня. — Фека просил передать для твоей Насти! — и она подала глянцевые тетрадки, с грустью.

Вот — даже этот уголовник благороднее тебя! Удар под дых. Ну, Фека! Окровавленный, но принес! Не мог мне в вагоне передать! Не мог. Тогда бы его моральное превосходство оценил только я. Да и то неохотно... Аудитория не та. А мама — просто цвела! Но и иллюзий не строила, слава Богу!

— А ты что — хочешь в одном купе с этим прощелыгой деньги везти?

— Да. А что? — произнес я недоуменно.

У нас же любят таких, рвущихся сквозь преступления к святости, к благородству. А других не очень-то чтут... «Своими делишками заняты! И больше ничем!» Это про меня.

— Да. Повезу!

И лучшего я не стою!

— Ты с ума сошел! — мама совсем развеселилась. — Давай-ка придумаем что-нибудь!

Фека в купе надменно молчал. Видимо, жадно ждал, когда я заинтересуюсь деталями кровавой битвы на мраморной лестнице. Но, не дождавшись, выпалил:

— Кстати — тетрадки передали тебе? Ты, вообще-то, у матери был?!

— Разумеется. Но... какие тетрадки? А, да. Спасибо тебе... куда ж я их сунул? А — вот!

Он мельком заглянул в мой портфель. Конверта премиального нет! «Вот сволочь!» В смысле, я. Он слегка напрягся. Только тетрадки в портфеле, плод его благородства! Которое, думается, достало уже и его. Фека, недовольный, отпрянул. Явно ждал чего-то еще. «Разве ты не все получил, что тебе причиталось?» — хотелось спросить его. Пиджак на голое тело надет, рубаха порвана. Мало славы ему?

Хотел, видимо, исполнения пословицы: «За одного битого — двух небитых дают». Но где взять этих двух небитых — не представлял. Мы ехали в СВ, и еще двух — не было, хоть убейся.

— Все хорошо прошло? — вскользь поинтересовался я.

И более оскорбительного вопроса не мог задать. Обнулил! А опухший фиолетовый нос его? А заплывшие его глазки? Это хухры-мухры? Впрочем, мне свойственна невнимательность к людям — Феке есть на что обижаться, за что мстить. Друг, называется! То есть, я кругом виноват. Не был на битве и проявил равнодушие.

— Да-а! — Фека проговорил возмущенно. Заводил себя перед делом. — Говорят, тебя можно поздравить? — презрительно произнес.

Пока друга били (правда, за дело), этот премии получал! Не нашел ничего лучшего!.. Не говоря уже о достойном.

— Поздравляю! — все презрение вложил. Но — с элементами дружеского сопереживания. — Вот!

Он горестно поставил на стол бутыль. Горчее текилы ничего нет. В самый раз! Даже соли он не поставил. Чтобы сразу — тошнить. А чего заслуживает еще эта премия?

— Да какая там премия? — уничижительно произнес я.

— Да уж знаю, наслышан! — посочувствовал он. — Карман не жжет? Насчет кармана — это он ловко закинул.

— Да нет. Не жжет, — я потрогал за пазухой. — Толстокожий я... Во всяком случае — не прожигает. А ты что? Литературный критик?

— Слава богу, нет!

Мы смотрели друг на друга, как враги. Нужная ступень злобы достигнута.

— Ну что... выпьем сию горькую чашу? — произнес он скорбно, едва ли не по церковно-славянски.

Видимо, готовился в монастырь.

— Давай! — выпив, я стукнул стаканом об стол. — Все. Подташнивает. Пойду кину харч. Вот! — я влез за пазуху и положил на стол пухлый конверт. — А то уроню еще не туда. Счас.

Заметил: в последнее время я полюбил изображать пьяного. Не слишком увлекся? Найдя, наконец, ручку туалета, рванул. Зачем? Никто же уже не видит меня. Покачиваясь, простоял там положенное время. Вернулся, утирая рот...

— Нормалек! — я омерзительно усмехнулся. — ...А где? А.

Конверт лежал на столе. Но не тот. На том было еле видно нацарапано: «100 т.» А на этом — нет. Не учел он.

— Во! Чуть не потерял!

Со второго раза я попал конвертом за пазуху. И рухнул.

— Ну что? Глубокий освежающий сон? — проговорил я.

Но Феку потянуло на лирику: можно уже и расслабиться. Преступники это любят.

— ...Ты знаешь, какая у меня мечта? — проникновенно заговорил он. — Я вижу подвал...

— Темный, — я прервал паузу.

— Светлый! — воскликнул он. — И всюду стоят столы!

— Накрытые!

— Не-ет! — сладострастно возразил он. — Рабочие! И за столами сидят...

— ...Заключенные! — догадался я.

— Не-ет! — он замотал головой так, что щеки болтались. — Слепые женщины!

— Почему слепые?

— Так я вижу. И есть такой фонд.

Понятно. Учредили с Рябым. И теперь рубят бабки.

— Но в каких они работают условиях! В тесноте, в темноте.

— Так слепые же! — сказал я.

— Но сердцем видят!

— Нет, — сказал я. — Что-то я этого подвала не вижу. Детство я провел на Саперном, семь. Дом Оболенских. Бывший приют слепых женщин!

— И что?

— Не было там никакого светлого подвала. Не верю я в эту идею... в наше время!

Хотел сказать Феке — «в твое», но осекся.

— Ты не дослушал меня!

Привык дожидать.

— И они будут лепить жаворонков из теста!

— Слепые женщины? — я уже поддерживал его, так быстрее.

— Да! Жаворонков лепят на какой-то церковный праздник. Хорошая традиция! А у нас они будут лепить их весь год! Врубаешься? И они будут вставлять... жаворонкам глаза! Изюминки! И в печь! Символично?

— Зачем?

— Милосердие!

Но вряд ли они отведают этих жаворонков. Зная «компаньонов» — очень сомневаюсь. Рябой все сожрет. Жалко то ли жаворонков, то ли женщин.

— Нет! — проговорил я.

И захрапел. Причем, что удивительно, по-настоящему.

— Ты не оставил мне выбора! — услышал я через собственный храп.

17.

На следующий день, умело имитируя тяжелое похмелье, я пришел к нему. Он был на рабочем месте. Но сизоват. И как-то подавлен. Увидев меня, он почему-то отшатнулся. Неужели я ему надоел? Не может быть! Чего такого плохого я сделал ему?

— Я тут подумал... — заговорил я.

— И? — он икнул.

— На! — я вынул конверт и протянул ему. — На изюм. Для слепых женщин!

Он схватился за стол. Его явно укачивало. Он мало что понимал. Ему вручали его же куклу, которая должна была уйти со мной... Но вот я вернулся, и протягиваю ее.

— Ты не открывал еще, что ли? — прохрипел он.

— Не успел. А зачем? Мы же говорили вчера. И я осознал! На!

Но рука его почему-то отказывалась подниматься. Алкогольный паралич? Отлежал? И мало чего понимал. Не успевал за стремительностью событий. Ему вручают его же куклу, сотворенную им, притом другая, тоже кукла, лежит у него, украденная у меня. Мы с мамой собрали ее, смеясь. «Всюду куклы! А деньги где же?» Вот что томило его! Может быть, у него мелькнула даже мысль, что мне выдали куклу вместо премии, и я не виноват?

— Не бойся. Бери! Все по-честному.

Фека как раз такое любит. Но, главным образом, из своих уст. А из моих — это добило его. Где же идеалы?

Взял. Свою же куклу. Всю душу в нее вложил... а толку — никакого!

«Вдруг деньги там?» — мелькнуло в его глазах.

Запутался окончательно. От меня этого не ожидал! А я-то от него ожидал. В этом и мое преимущество.

— Ну, я рад, что ты взял! — воскликнул я.

Какую именно куклу, не уточнял. Обе взял. Теперь две у него. И обе пустые. И это его бесило. Таков, что ли, финал?

— Насчет слепых баб передумал! — рявкнул он. — Нечего им!

Но кукол не вернул. Пойдет, как учебное пособие. Но уже — не мне. Я уже выучился. И больше всего раздражало его радужное мое настроение. А чего? Все отлично. Друзья ведь! Другой бы разгневался. Но не я. Эмоции надо экономить, а отрицательные вовсе не допускать. Нервы пригодятся еще.

— Ну? Все?! — у него как раз они сдали.

— У меня маленький вопрос. Батя...

— А вот про батю не надо! — злобно проговорил.

Семейка наша, чувствуется, уже задолбала его.

— Батя... — я произнес лишь слово, а он снова дрожал.

Так он еще батю и не знал толком!

— Вы еще не знакомы с ним? Так познакомитесь!

— Не надо!

Трясся уже весь. Почему простой утренний разговор так издергал его?

— Мачеха погибла под автомобилем. Ты знаешь! — продолжил я.

— Нет!

...Что у него все «нет» да «нет»! Друг, называется!

— Ты еще долго? — он нервно глянул на часы.

— Минута! И батя, значит, переехал ко мне...

Сага!

— Поздравляю! — как-то без души он сказал.

— А квартиру свою продал, за доллары. И принес их мне.

— И чем же я могу быть полезен? — глаза все-таки поднял.

Что-то нехорошее все же мелькало в его глазах... но я пренебрег!

— Ну как же без тебя? — вскричал я. — Так вот, батя... Уехал к сестре.

А деньги-то, доллары, оставил у меня. Специальное отверстие для них выдолбил.

— ...Где?

Спросил, ясное дело, из чистой вежливости.

— Представляешь — в шкафу.

— В каком еще шкафу? — он почти задыхался.

Общечеловеческое боролось в нем со специфическим, и специфическое, кажется, побеждало.

— Да в прихожей — ты знаешь. Как войдешь — и сразу! — радушно произнес я.

— Что значит — войду? Чего ты хочешь? — прохрипел он.

— Но ты же друг! Посоветуй! Скажи!.. Может быть, все-таки в банк?

Он сглотнул слюну.

— Да грабят банки-то. Да и сами они воруют! — с искренним осуждением произнес...

И я ему, конечно, поверил!

И пошел. В баню!

И доллары, разумеется, были украдены. Но — не те, о которых я говорил. Надо отдать должное добросовестности Феки: он положил куклу, чтобы мы не сразу обеспокоились. И что трогательно, крайние стодолларовые купюры были настоящие! Я даже слезы почувствовал. А украденные им у нас доллары были — нет, не настоящие. Горько это говорить. Кукла, увы. Но не традиционная. Во времена моей дружбы с «Ленфильмом» там снимали фильм «Казусы казино» по моему сценарию. Заодно, согласно сюжету, я увлекся художницей-бутафором. А она, как выяснилось, не была искренней. Предложила мой гонорар, в те времена гигантский, для верности поменять на доллары. Верность — чему?.. С годами, действительно, доллары росли, но не мои бутафорские, вернее — ее. Определилось не сразу, и я решил не портить склоками сладость воспоминаний! И спрятал их в шкаф.

И надо же — пригодились! Кто-то жадно их брал! И это, увы, мой друг!

Буквально на следующий день я, болея за него, пришел в офис. И увидел ужасающее: лжедоллары были разбросаны по всему столу, словно в ожидании прихода оперов: «Берите!»

— Ты что? С ума сошел? Спрячь! Увидят!

— Что? — горько усмехнулся он. — Ты что — не узнаешь их? Твои!

Я всплеснул руками.

— Как же они... здесь?

— Издеваешься? Может, хватит?

Главным «преступником» оказался я. Пришлось мне сознаться.

— Ну, может, и хватит, — я виновато сказал. — Извини.

— Ты не понимаешь, что творишь?! — он, однако, не успокоился.

— Что?

— Ты нивелируешь профессию вора! Мол, за куклу получишь лишь куклу.

— А это неверно? Так я и считаю эту специальность бессмысленной. Брось ее.

— Этого тебе не простят!

— Даже ты?

— Я восстановлю честь нашей профессии!

— Ну почему — ты? — занял я. — Давай лучше выпьем!!

— Нет!

Даже от выпивки отказался, бедняга. И поруганное восстановил, таки! Кого-то обворовал, кто действительно на него обиделся. И гордо сел.

Мама заплакала, когда я ей рассказал.

— Ну — дурак! Ну — дурак! — повторяла, вытирая слезы. — А ты где был?

Ну, конечно же, я виноват.

— Я, мама, был в гуще событий. Пойми: он хотел меня стереть, по уголовной привычке, показать, что все дела мои — ноль, и командует он. Но это, мама, со мной никогда не пройдет, и все жаждущие этого — пожалеют. Не простит? Я тоже ему не прощу, что он превратил меня из вольнодумца — в консерватора... Мама! Ну что ты все плачешь? — отчаялся я.

— Васька Чупахин умер сегодня, — всхлипнула она.

18.

— Ну что? — сказал я отцу. — Деньги наши, слава богу, при нас. Зовем всех — и будем жить, как люди.

— Кого это «всех»? — проворчал он.

— Ну... Нону, мою жену. Настю, внучку твою. Хотел тут сделать ремонт, но, как говорится, — «по ходу».

— Прэ-лэст-но! — произнес он слово, определяющее его жизнь.

Когда сгорела зерносушилка: «Прэ-лэст-но!»

— Ой! Мы здесь будем жить, почти на Невском? — Нона радостно всплеснула руками.

У отца даже блеснула редкая, в его жизни, слеза. Он пошел к себе (в бывшую мамину комнату), долго там копошился. И вышел, сияя.

— Это, Настя, тебе!

— За все напрасно прожитые годы! — засмеялась Настя, любуясь купюрой — ...Прэ-лэст-но!

Теперь они будут приглядывать друг за другом, и я смогу ездить, куда мне надо.

А насчет холодности моей мама ошибается. Иногда я сам себя боюсь! Когда мы с девчонками (дочерью и женой) приехали в Сочи, в отель, выяснилось, что там — ад. Девочки даже плакали. В восемь утра, еще до завтрака, все топчаны на пляже оказывались заняты, хотя никто, я

видел, не приходил. Где шапочка, где носок, и — не тронь! И мы два дня страдали на краю пляжа, на острых камнях. Так мечтали о счастье! И столько денег заплатив!

Я не всегда терпелив и сдержан. Глубокой ночью, дрожа от холода, я прибежал на пляж. Было темно. С грохотом обрушивались огромные волны. Бордовая полоска на горизонте обещала рассвет. Но что придавило пейзажу окончательный трагизм — на пляже не было топчанов — ни одного! — и у меня никак не получалась их занять. Они были под навесом, высокой кипой, скованные цепью! Цепи не разорвать... Но это смотря в каком состоянии! Я стал выдергивать из середины кипы топчан, и один выдернулся, за ним — другой. А вот с третьим пришлось повозиться. Волны обрушивались. Я рвал — и вырвал. Топчан шмякнулся на мокрый песок. И так будет с каждым!

Конечно, скажете вы, если бы я протянул Феке руку или подставил плечо, я мог бы его спасти. Но рук не оказалось свободных. Также и плеча. Ча-ча-ча...

19.

С отцом мы после воссоединения в соседних комнатках пишем, соревнуясь. Иногда он, человек горячий, выскакивает из своей комнатки, с каким-то жгучим вопросом:

— Я вот про селекцию все время пишу. А вот ты про что пишешь все время, не выходя из комнаты — не пойму?

И просто весь дрожит, от азарта. Сейчас «уроет» меня! Но я — его сын, и словом тоже владею.

— Как — про что? — удивленно говорю я. — Ты — про селекцию...

— ...Ну?! — восклицает он.

— А я — про все остальное! Включая тебя.

Яростно исчезает. Размялся. И пишет весь день. А я, увы, нет.

Динамично проходит обед. Выходит сиящий, и обязательно с какой-то безумной идеей, которую все тут же должны исполнять.

— Не пойму, как так можно жить! — поев горячих щей, но не раньше, возмущается он.

— Как, папа? — спрашиваю спокойно.

Вывести меня из терпенья ему не удастся, закалка есть.

— Вот — столовая, кухня...

— Так...

— И рядом туалет! Кто же так живет!?

Сияет. Положил меня на лопатки.

— Мы живем. Ну давай, пап, перенесем. Годик потерпишь?

— Ско-олько?! — дико морщится.

— Год! Ведь стояк надо переносить, весь дом перестраивать.

Пауза. Усмехается:

— ... Чего там на второе-то у тебя?.. Ну, ты и фрукт! — усмехается, прикончив второе.

— Фрукт с твоего дерева, батя!

Вот так и живем. Дико тоскует по работе на полях, где так был востребован, и все застоявшуюся энергию обрушивает на нас. К счастью — и на аспирантов Всесоюзного Института Растениеводства: те выходят от него, покачиваясь и держась за сердце. А он появляется довольный.

— Слушай... мы обедали — нет?

Так протекает наша жизнь.

— Ты с Настей и Ноной что-то думаешь делать? — вдруг вскидывает голову, глаза горят.

— Что, отец?

— Вчера вернулся с прогулки, вижу — обе на кухне сидят.

— И что?

— И обе — никакие. Еще два часа дня. Что это?

— Это беда, отец, — говорю спокойно.

— Да? — усмехается. — А ты сам во сколько вчера пришел?

— Их проблема — это другое, отец!

— А для тебя все другое! — говорит, торжествуя. — Кроме... не пойму чего. Впрочем, догадываюсь!

И это, как я понимаю по веселому его взгляду — не работа... Хорошо, что на их селекционной станции не выращивают розги.

— Ты сам такой, отец, — нападаю я.

— Какой? — морщится он.

— Скользкий! Обвиняешь других, а сам...

— Что — сам? — гордо выпячивает грудь. — Я шестерых аспирантов воспитываю! И ты наблюдаешь это! А ты... баб двух не можешь воспитать!

— Одна из них, между прочим — внучка твоя!

Но тут появляются новые аспиранты, и он всю свою ярость изливает на них. Впрочем, по тому, что слышу — за дело! Гигант!

— Ну и что? Подает кто-то надежды? — интересуюсь я.

Хмуро молчит. Если и признает кого-то, то с неохотой.

— А я — подаю? — спрашиваю.

— Подаеть... да все никак не подашь!

Жестокий удар. Придется ответить.

— Стоп, отец. Раз уж пошел такой разговор — об ответственности...

— Что еще?! — уже в своих мыслях.

Я, похоже, уже не интересую его. Но сейчас заинтересую...

— Вот стоит телефон.

— И что?

— И ты ни разу за все годы, что у меня живешь, не позвонил маме. Своей жене, хоть и первой... но с которой ты стал ученым, вырастил детей.

Тяжелое молчание.

— Звони сейчас!

Миг моего торжества.

— Ладно... подумаю! — бурчит он.

И мы расходимся... но как дуэлянты, жажда выстрела... никаких проблем не решив. И, собравшись, он снова выскакивает:

— Ненавижу, как ты по телефону говоришь!

— Как?

— На второй минуте: «Обдумаем!» Это значит: пора заканчивать. На третьей: «Обнимаю» — и вешаешь трубку.

— А ты — не так?

Переживаю я за наше семейство. Возвращаться — боюсь. Особенно почему-то из-за рубежа. Медленно поворачивая ключ, вхожу бесшумно, даже, я бы сказал, воровато, чтобы проблемы не задавили сразу, и было можно вздохнуть, сидя на стуле в прихожей и надеясь на лучшее. «В свой дом имею право входить и воровато!» — есть такая присказка у меня, спасающая. Но ненадолго...

Странно. На этот раз тихо. Ни звонких девичьих голосов, ни глухого мужского. Беда! Распахиваю дверь в «девичью». Никого. Но беспорядок, конечно, дикий, как уж повелось... но какой-то еще «более больший», как мы шутили с друзьями... всю жизнь. И вот — дошутились.

Через проходной мой кабинетик — к отцу, и уже заранее чувствую — есть! Успел! В смысле — он. Сделать. Что-то непоправимое. Протяжно скрипит его дверь. Помню, отец, сверкая глазами, требовал смазки, потом забыл... точнее, оглох. Голова опущена. Лысина сияет. Но сам — нет. Молчит. Обычно он начинал, по старшинству. Что же случилось?

— Ты холодный человек! — грозно тычет в меня пальцем.

— Но это и помогает мне все выдерживать. Ты, горячий... Что натворил?

Пауза.

— Я выгнал их... к чертовой матери!

Из моего дома. В котором хозяин — я.

— Да. Нахозяйничал! — произношу.

И я ухажу на кухню, чтобы набраться сил. Хотя здесь их не наберешься. Грязь — непролазная, и это тоже — на мне! Нет их! И его выгнать, что ли? Раскомандовался! Но тогда — вакуум. Иду в его кабинет. Он сидит за столом, облепив свою огромную лысую голову пальцами. Сажусь. Молчим.

— Ладно, — поднимает глаза, блеснувши слезой. — Нона пусть возвращается. Она хороший человек.

— А Настя? — вынужден сказать я.

Он опять в бешенстве.

— А Настя... пусть с парнем своим живет.

— Где?

— В Петергофе... Они там умерли все... Родители Ноны, — добавляет нетерпеливо.

— Ну, и что здесь радостного? — спрашиваю я, имея в виду не только смерть родителей Ноны, но и все происходящее с нами.

Задумывается — и вдруг снова скидывается:

— Парень мне понравился! Помогает ей...

— Смотря в чем.

И мы опять умолкаем. Потом на кухне пьем чай, черпая силы в нем. Потом батя подходит ко мне и, потрепав мои жидкие космы, произносит жалостливую фразу:

— Эх, товарищ Микитин! И ты, видно, горя немало видал... Да!

— Что «да»? — вздрагиваю я.

Он, мучительно сморщившись, щелкает пальцами, вспоминает.

— Это... Заходил твой друг.

— Какой?

— Впервые его вижу. Нахал! Что-то требовал от меня, попрекал чем-то...

Фека! После освобождения за много лет — впервые! Что-то чрезвычайное. Сердце сжимается в смутном предчувствии.

— С лестницы его спустил!

Разгулялся батя!

— Да он зарезать тебя мог запросто!

— Что-о?

Сейчас и меня с лестницы спустит.

— Все? — с надеждой спрашиваю.

Продолжает морщиться, щелкать.

— Это... Ольга звонила!

— Понимаю... Моя сестра. Твоя дочь. И что сказала?

— ...Алевтина померла! — выпаливает он.

Так они и не встретились в этом доме! И виноват я. Мало старался. И вот — еду в Москву, где уже нет мамы... но еще можно увидеть ее.

Тени на столике появлялись при подъезде к большой станции. Замирали на некоторое время. И снова двигались. И таяли, как и свет за окном.

Я же звал маму ко мне!

— Что ж ты не приезжаешь? Мы тебя ждем...

— Но мою комнату, я слышала, кто-то занял?

— Вот и помириться! Вы теперь оба... свободны!

— Это смотря кто! — обижалась мама.

Она-то свою внучку вырастила! А он (правда, другую) выгнал... И что создал? — это я уже думаю мамину мысль.

Помню последнюю нашу встречу:

— Фека таким франтом явился: Алевтина Васильевна! Любые лекарства!

— Ну и что?

Неужели не о чем больше поговорить?

— А! Те же самые, что в аптеке! — мама смеялась.

И когда провожала меня — улыбка еще цвела на ее губах. Неужели он появится на похоронах — хватит нахальства? Но если не появится — тоже не клево.

Мамин портрет стоял самый мой любимый: она, молодая, красивая, легко держит большой сноп на руках. «Настоящий символ Родины», как говорили льстецы, и правильно говорили. Невыносимо было смотреть на нее, высохшую... и на нее же, цветущую! Ну что же это такое — жизнь?! Я, как и всюду, приехал загодя... Считаю величайшим хамством — опаздывать. И особенно здесь. Постоял, но долго не выдержал. Выскочил, и бегал по территории — не занятых мест тут еще полно. И рыдал. Вот так — на бегу, в отдалении, да еще под дождем — в самый раз.

Молил: хоть бы Фека не приезжал. И понимал: мама бы огорчилась!

И — вот он вышагнул из машины. Траурное пальто до земли. Пошел специально, в дорогом ателье? Седая прядь. Видимо, появилась она, столь эффектная, именно сейчас. Скорбно-величественно со всеми раскланивался (несмотря на удивленные взоры: «а кто это?»), пользуясь тем, что с похорон не принято выгонять.

Потом мы сидели в кафе, и Оля принесла мамин портрет, и мама поглядывала на нас с Фекой, оказавшихся рядом, но якобы незнакомых:

«Вы что — поссорились? А кто же тебе, Валерий, будет теперь помогать?!»

«А ты не помнишь, мама, как мы помогали ему?»

— Ну что? — повернулся я к Феке. — Поехали... уроки учить?

Отвлек его — а то он собирался уже говорить первый тост.

22.

Первый тост он все же сказал, но не здесь. Поехали мы с ним уже не на «убитую» улицу Шкапина, а на уютный скромный Васильевский, где, помнится, мой любимый Обломов коротал свои последние годы.

Но мой нелюбимый Фека ничего не «коротал», был крут. Сменил жилье на престижное!

— Заходи! — сделал широкий жест.

Уютнейший крохотный, чисто василеостровский домик, облезло-голубой. Полуторазэтажный, я бы сказал. Первый этаж осел, второй — с нормальными окнами, и над ними — острая башенка со слуховым окном. Трогательнейший ампир, появившийся после победы над Наполеоном. И даже мороз был словно из других веков, и дым доставал белым столбом до лазурного неба, как на гравюрах! И как при прежних хозяевах! А нынешний — вот. Только что с похорон! И во всем параде. Пожалуй, что именно с ним, дураком, я бы и хотел сейчас оказаться!

В прихожей «стреляла» печь. Стол, правда, не струган. Творческая мастерская, как обронил он. Что же он тут творит? Белая пыль и пересохшие (даже в горле запершило) изваяния, и в их числе — волнующие женские. Ого! Я глянул на появившуюся Нельку... Она! Так вот кто хозяйка. Увековечена уже. А Фека, как всегда, «на понтах». Или он уже скульптор? На вид — почтенный деятель искусств. Хорошо смотрится на фоне глиняных Дзержинских, Кибальчичей, Джугашвили.

— Лауреат Государственных Премий? — оглядевшись, спросил Феку.

— Академик! — гордо Фека произнес.

— Покойный, — мрачно уточнила хозяйка.

Фека поправил седую прядь.

— Между прочим, мы с кладбища, — надменно произнес.

— Оно и видно, — усмехнулась Нелька.

Никакого почтения к лже-академику. Впрочем, поставила грибки. Серебряные рюмки. Интеллигентный старинный дом... каких у настоящих интеллигентов почему-то не бывает никогда.

— Ну... за Алевтину Васильевну! — Фека поднял, таки первый тост.

Царил! У мамы моей на поминках! Но я был благодарен ему.

Мой сладкий сон был прерван их ссорой.

— Расселся тут... академик! Кукла ты!

— Михеич меня больше уважал. Ураганили.

— И как-то раз ты «позабыл» меня здесь. Теперь я — хозяйка, вдова.

А ты...

Знакомая ситуация!

— Стоп! — я встал между ними.

Что-то кольнуло в сердце... Кольцо! Хотел маме его надеть, как прощальный подарок. Но потом — постеснялся. Все-таки краденое! Мама бы не одобрила. Вытащил его.

— ...Узнаете?

— Оно... — залопотал «академик» наш. — Точно — оно! Ты, что ли, и есть тот фраер... что из ломбарда его выкупил? И меня спас?

— Я.

— Ну... сильно! — Фека впервые зауважал. — И что?

Он не хотел уже его из рук выпускать.

— Поскольку настоящий святой — я... Венчаю вас! Будьте счастливы.

И тут — его знаменитейший «финт ушами»:

— Ну, нельзя же так... Надо же заявление написать. Потом ждать.

Проверить, так сказать, чувства.

Но, поймав Нелькин взгляд, забормотал:

— Да че... Нам ли думать, красивым парням? Идет!

Недоучел я Нелькин характер! Вырвала у Феки кольцо. Повертела.

— Подделка! Рябой никогда ничего хорошего не продавал, — и вернула кольцо мне.

Разруха? Провал? Но для чего я тогда, живу? Должен же сделать что-то? Я поднял кольцо вверх.

— Было — фальшивое. Но теперь, благодаря прожитой нами жизни и перенесенным страданиям, стало святым. На, Фека! И Неле на палец надень.

Его пальцы дрожали. А ее — нет.

— Горько-о! — завопил я.

И они жарко целовались, и вдруг Нелька обхватила меня рукой за шею и притянула к ним.

23.

А я, оставив молодоженов, ночевал в прихожей черного хода, перед открытой печкой, шуруя кочергой, поддерживая пламя любви... Всеобщей!

Как давно я мечтал об этом — снова почувствовать лицом жар огня. Темно, пламя шумит, огонь просвечивает квадратом по краям железной

дверки, отблески на стенах и потолке. Щурясь, мама открывает дверку, достает ухватом тяжелый горшок с пареной репой. Сладчайший запах, а репа рассыпчатая, несладкая. Но все это поддерживает мой восторг — мое главное дело еще впереди. Печка догорает, пора спать. Я специально уговорил маму поставить мою кровать в комнате с печкой, жалуясь, что везде зябну. И это, кстати, правда. Но не вся.

Мама уходит, поручив мне ответственнойшее дело: закрыть конфорку, но не слишком рано. Иначе — угар. Звякнув откинутой щеколдой, я открываю горячую дверку. В топке, во тьме, переливается огнями — точками город (много лет спустя я увидел такое с самолета). Я разбиваю город кочергой, он темнеет. Остаются только бегающие огоньки, мелькают и самые опасные, синенькие — это угарный газ. Надо дожждаться, пока он уйдет в трубу, а огоньки догорят. Все! Пора задвигать наверху конфорку, чтобы не уходило в трубу тепло, защелкивать дверку... И спать.

Но тут-то и происходит самое-самое. Я бесшумно выгребаю из-под кровати бабушкины пузырьки от лекарств («Куда мои пузырьки пропадают?» — удивляется она). Синие, коричневые, зеленые (прятать зачем-то я их стал давно). В топке теперь зола — седая, пушистая и жаркая. По ней время от времени проходят какие-то волны света. Подержав в пальцах, опускаю в нее пузырьки, как парашютики. Плюх — исчезают. Закрываю со скрипом дверку. С колотящимся сердцем. Возможно, мама, засыпая, восхищается моей добросовестностью. Или, наоборот, волнуется: выстудит печку.

Скриплю пружинами матраса, сигнализирую ей: все сделано, ложусь спать! Закрываю глаза, вытягиваюсь, ощущаю жар, идущий от печки. Жар этот работает на меня! Все — энергия от солнца, и жар в дровах — тоже. Вселенная работает на меня! Блаженство и торжество. И теперь главное — не проспать, когда зола остынет, и пузырьки можно будет нащупывать и вынимать. Мягкие! — вот в чем главное счастье! Кто видел мягкие пузырьки? Не говоря уже — трогал.

И вот начинает светать. Еле-еле. Волнуюсь... Рано? Второй уже раз их пеку. Пора! — что-то толкает меня. Спустить с кровати босые ноги, встать на колени на железный лист перед печкой. И бесшумно выставить на железо их. Обтрогал все... Быстро соображай, пока не застыли. У этого синего вздулся и размягчился бок — можно вытянуть нос, выколоть бабушкиной шпилькой точки-глаза. «Сторож!» — быстро называю его. Ставлю. А зеленый — сам просится, чтобы его крутили, закручивали, пока не застыл... Елка. А коричневый уже почти затвердел, можно вытянуть лишь горлышко, насколько успеешь, и поставить на бок... Бегемот. Откидываюсь. Вытираю пот. Выстраиваю мои первые творения в жизни на подоконник, люблюсь ими, просвеченными лучами восхода.

Мгновение! И скрипит пол. Мама встает. Сгребая их с подоконника и — под кровать. «Ты чего под кроватью?» — «Чулок потерял!» — «А чего не спишь?»

Да какой уж тут сон! Разноцветные пузырьки в глазах!

Когда мы уезжали из Казани, я на рассвете простился с ними. И задвинул их под кровать. Навсегда?

Покинув «молодых» еще до рассвета, я ехал на брякающем троллейбусе через Неву. В начале Невского автобус остановился, от дома недалеко. Шел мимо копии «Палаццо Медичи» — бывшего банка... Много чего было тут, теперь — отель. Огромные полукруглые окна, еще темные. И вдруг — сиянье! Над стильным баром, на длинных ниточках сияют мятые мои пузырьки! Вон зеленая елка, бордово-коричневый бегемот, синий сторож. Лишь жалкие копии, разумеется. Но я счастлив. Вот — результат. Жизнь прошла. Но не мимо!

И вот я дома. Спать уже ни к чему. Светает. Все тает.

24.

Прошло еще двадцать лет. Кто-то сверлит мне голову! И я знаю — кто. Непрекращающийся евроремонт наверху. Но интеллигентно сверлит... делает паузы. Минуту. А то и две. Культурнейший человек сверлит!

Пора и нам за свое. Сначала — водные процедуры. Замена памперсов. К счастью — не мне. К несчастью — ей. Потом чай. Светский разговор.

— Тебе, Нона, вообще уже нельзя пить. Особенно — чай. И есть. Ты уже не контролируешь себя!

— Ну, и не корми! — подняла гордый свой профиль.

— На памперсах разоримся!

— А что это? — холодно поинтересовалась.

— Это то, что ежеутренне меняю на тебе... не с лучшими ощущениями. И в чем ты сейчас.

— Спасибо, Венчик! — кротко произносит она...

И все? Полное счастье? Можно, конечно, расстроить ее, а потом успокаивать. Зачем? Как говорил друг мой, алкаш, вне зависимости от того, что он видел, открывая глаза: «С добрым утром, дорогие товарищи!»

Спокойно, без эмоций, диктую план:

— Значит, так. Кроме завтрака — ничего не едим. И не пьем. Особенно вечером.

— Хорошо, — соглашается она. — Но ты, Веча, ешь, ешь... А я не буду!

Кивает головкой-огуречиком, уже почти без волос.

Что я, жлоб — есть один? Но — хочется. А она — терпеливо держится и не жалуется. Вот молодец. И мне становится ее жалко. И немножко себя.

— А давай — нажремся! В хорошем смысле этого слова! — вдруг говорю я.

Будем счастливы! Хоть недолго. И будь что будет — потом. Со всеми вытекающими последствиями. Но убирать уже легче: сам виноват!

Сходил к профессору Фельдману посоветоваться по этому вопросу, а он вдруг обрадовал:

— Поздравляю вас! Вы имеете все самое лучшее, что только можете иметь в вашем возрасте!

Вдохновил. Всю жизнь я стремился к лучшему, и вот, уже почти на финише — достиг.

Ну, что? Новый ослепительный день?

За продуктами хожу сам. Передвигаться полезно. Зато вижу вполне конкретно, как постепенно разрушается жизнь. По крайней мере — моя. Исчезает ценное! Моя любимая кожаная сумка, с которой я блистал по странам и континентам, стало потертой кошелкой: отскочил бегунок с молнии, и сумка распахнута. Жизнь нараспашку! И при этом — пуста.

К другу Ашоту пришел. Он тоже поизносился за десятилетия, бывший жгучий красавец. Но — как король в своем королевстве, на троне сидит. Завидую ему. Протянул свою властную руку:

— Давай.

Помял, подергал.

— Извини, дорогой! Теперь уже не делают таких бегунков. Забирай свою сумку.

— На помойку?

Как всю мою жизнь?

— На видное место поставь. Память будет!

— А... новую молнию вшить? — задаю свой жалкий вопрос.

— Зачем? У тебя настоящая сталь! Таких молний больше не делают! Пластмассу хочешь поставить? Не позорься! Возьми!

И я гордо ухожу. За картошкой. И прихожу в среду.

— Должен огорчить тебя, дорогой! Нет таких бегунков во всем мире. Всюду смотрел. Забирай свою вещь. Снова заходи!

С тем же, видимо, результатом.

— Спасибо, друг!

На выступления сумку беру: вдруг дадут продуктами. Аудиторию не грузу. Короткие сценки, афоризмы.

«Ну, давай — поглядим друг другу в глаза! Но как ни старались — не смогли!»

Молчание в зале. Видимо, не поняли, что я уже начал выступать.

«Нес в сумке альбом Босха. В метро запарился — бросил шапочку в сумку. Открываю сумку дома... шапочки нет! Торопливо перелистываю альбом: кривоногий черт, который в Аду таранит железную лестницу — в моей шапочке. Отдай шапочку, негодяй!»

Интеллектуалы чуть оживились... Два хлопка.

«Подвижен, как ртуть, и так же ядовит!»

Ноль хлопков. Шаг назад.

«Гостей будет много. И все люди крайне неприятные!»

Это — поняли!

«Почему хахали не выехали?»

Это одобрили. Но по глазам вижу: не поняли. «Не выехали» — когда их гонят, или когда их зовут? Заспорили между собой. Ожил зал. Искусство — в массы!

«В ресторане стал отнимать у нее куриную ножку — разыгралась безобразная сцена!»

Мужчины оживились, женщины обиделись. Иногда, кстати, бывает наоборот.

«Вместо кофе с молоком принесли кофе с молотком».

Бывает. Похлопали.

«Оно настало. И всех достало».

Это — объединило весь зал. Единогласно!

«Приехали крала. И деньги украли. Но наши, советские — все же не брали!»

Зал разделился. Овации — и свист.

«Вагон метро заполнился дымом. Все задыхались. На станции — подышали. И поехали дальше».

В зале переговаривались. Хотелось уже подвигаться.

«Нет, ты не будешь есть икру! Нет — буду! Сам с собой подрался у холодильника!»

Сдержанное одобрение.

«"Когда будешь?" — "Видимо, к вечеру. В общем, видимо или не видимо, но к вечеру буду"».

Одобрили. Кто-то даже вернулся и сел.

«Водка — прозрачная, и стаканы — прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем».

Успех.

«Крякнув, принял душ, гикнув, выпил чашечку кофе».

Ничего так.

«Дай дорыдать! А то ты сразу — банкет?»

Шепот пошел: «А что — фуршет будет?»

«Нага, но строга!»

Несколько женщин вышли. Пора кончать.

«Были бабочки белые, стали желтые. Загорели!»

Потеплело.

«Что такое, е-мое! Не принять ли мумие?»

Овации. Медициной интересуются.

И в заключение :

«Пр-роститутка!»

Зал замер в шоке.

«...Статуетка. Восемнадцатый век. Восемьдесят тысяч евро! Только мы, художники, делаем мир драгоценным!»

Хлопали лишь интеллектуалы, точнее — один.

И — последнее, ударное:

«Нет ключа. Ча-ча-ча!»

Овации.

Шел мимо мастерской Ашота. Зайду — просто так.

И вдруг — праздник! Сбежались! Все!

— Мы так долго ждали! Переживали! Я бегунок твой достал, — сказал Ашот. — А адреса не знаю. Молодец!

Он надел бегунок — и молния ожила.

— Теперь молния эта драгоценная! — сказал я. — В ней все лучшее сошлось, что в нас есть! Я горд!

— Так и ходи! — сказал Ашот.

И хожу.

26.

А с Фекою нас после долгой размолвки беда свела. Лучшее средство вернуть дружбу. Этого, видимо, мы с ним и ждали. И — дожили. Был я в Москве. И вдруг — Неля, звонок. «Фека в больнице с сердцем. Хочет увидеть тебя. Положение критическое. Но звонить тебе не велел!» Для его возраста — это уже объяснимо.

Я все бросил, кинулся в поезд, только верхняя полка была. Но наш темперамент, увы, уже не обеспечен запасом сил. Лихо взлетел на верхнюю полку — и так же лихо, при резком торможении, с нее упал. Мордой об

стол, на котором стояли еще стаканы в подстаканниках! Очнулся в больнице, огляделся. Основной контингент — зайчики с марлевыми ушками. Травмы, полученные в битве с алкоголем, но с жизнью совместимые... В эту палату — спасибо! — определили и меня — и по той же, видимо, категории: бой посуды в публичном месте. Почетно для моих лет.

Но «зайчата» поначалу не приняли меня — считали, видимо, что я «не по делу» в палату попал, а по каким-то льготам. «Ну что, халявщик?» — так обращались почему-то, не приняв за заслугу мой бинт на лбу. Не заработал я такой чести — с ними быть, они в непрерывной борьбе. Не везет мне в палатах: всегда почему-то в изгоях, оказываюсь, а в лидерах — такие, как Фека.

И словно в одинокое детство вернулся. А как, кстати, он? На похороны его спешил! А он... опять «финт ушами»?

И — явился! В неслабом прикиде. Вот он, миг торжества! Опять меня кинул. На этот раз — скинул с верхней полки фейсом об тейбл. Горд?

— Жив еще? — так меня поприветствовал.

Картина передвижника «У постели учителя».

— Да уж поживее тебя.

Зайчики задвигались на кроватях, устраиваясь поудобнее. Баттл двух полутрупов!

— Вот! — Фека расстегнул сумку, не хуже моей. — Подарочек тебе принес!

Поставил на стол что-то вертикальное, завернутое в газеты. Бутыль? Фека (все внимание на него), интригуя, снимал слой за слоем... как с мумии.

И — точно. Глиняная голова. Пригляделся с ужасом: я. Более мерзкого подарка, да еще в больницу, и придумать нельзя. Перископ мой из-под земли?

— Это что... на могилу мне, что ли? — с трудом выговорил я.

Настоящий друг.

— Ну, почему сразу — на могилу? — равнодушно сказал он. — Пусть пока постоит.

— За «пока» спасибо! — прохрипел я.

— Угодил? Похож?

Тут даже ушастики мои зароптали. Такого, чтоб приносили в больницу могильный бюст, они еще не видали.

— Ты чего, дядя? Больной?

— Похож, говоришь? — разъярился я. — Но больше не будет.

Я взял глиняное изваяние за уши, поднес поближе, потом резко отвел, для удара. Пропадай, моя голова! На лбу появилась чья-то рука. Покопился — мужчина в белом халате.

— Подумайте! — проговорил он. — Второй раз собирать вашу голову я не берусь.

— Хорошо! — я протянул изваяние Фека. — Забирай свой жбан. А то я несколько утомлен.

И я лег. Фека, щедро оставив нам скомканные газеты, как-то нервно запихнул бюст в сумку. И это — встреча после долгой размолвки!

— Эх ты... Кто еще подумает о тебе?

Это верно.

Он, сутулясь, пошел. Остановился в дверях:

— Между прочим — башку твою Нелька лепила!

— ...Извини, не знал.

Хотел побежать за ним — но слезы не дали.

Только вышел на волю, позвонил.

— Приходи, — сухо Фека сказал.

Вошел в мастерскую...

— Да у вас тут Русский музей!

Картины, скульптуры. И мой бюст тут.

— Если бы не я — гнило бы все, — хвастливо он произнес, — в связи со смертью хозяев.

— И многих уморил?

Он лишь усмехнулся:

— За русское искусство! Пока еще — можно чокаясь!

Ну просто — Савва Морозов! Третьяков с его галлерей!

— Ну, и за тебя, ясное дело, — подхватил я.

— Ничего! Ты тоже причастен! — Фека подобрел.

Имел в виду, думаю, трансфер кукол. Тут же и моя кукла стояла, в масштабе один-один.

— Еще тыщонка сто на литье, — по-хозяйски развалившись, Фека проговорил. — И можно ставить.

— Но подожди только, пока я буду готов.

— Да нет. Не спеши.

Сегодня добрый.

— Прежде всего — Нелли должен поклониться! — проговорил я; водка, хоть и невидимая, все-таки забирала. — Что литье? Главное — лепка!

Всегда я, похоже, ее любил!

Два часа промелькнули.

— Ты знаешь — кто я? — Фека бил в свою хилую грудь.

— ...Великий человек.

— Нет! — он яростно замотал головой. — Я... поползень!

— Кто?!

— Есть такая мерзкая птичка. С длинным носом, высоко задранным. Но с короткими лапками. Вверх по стволу ползет, фактически на брюхе. Как я. Зато нос задран. Так вот, ты — ствол. Всю жизнь по тебе ползу.

— Нет — это я поползень! — растрогался я. — Ты — ствол. Растешь! А я по тебе — ползу!

— Я загубил твою жизнь! — Фека бил по своему больному сердцу.

— Нет, — это я твою!

Не уступали первенства в таком деле.

— Ну, вы, поползни! Завязывать собираетесь?

— Н-нет!

И вдруг грянул гром. Били в дверь деревянным молотком, подвешенным в девятнадцатом веке. И — ворвалась новая жизнь: толпа жизнерадостных китайцев. Они распространились по мастерской и, побазарив с Фекой, вдруг легко перешедшим на их язык, вязали веревками скульптуры, полотна и выносили их. Фека смотрел в мобильник, фиксируя навар. Меня он уже не видел. Где — я, и где — навар? Смутно надеясь, что часть доходов перепадет и мне (голову мою продадут?), я уполз в мою любимую каморку истопника возле черного хода и поддерживал градус.

Проснувшись, выполз. Мастерская гола.

— А Феку тоже, что ли, купили?

— В аренду взяли, — мрачно сказала Нелли.

— А мой жбан — тут. Даже не знаю — радоваться или грустить?

— Радоваться! Фека цену загнул. Сказал: это Бродский!

— Опять же, не знаю — радоваться ли.

— Свое ты получишь!

— Не сомневаюсь!

— Но — после реализации.

27.

— Феку хороним.

— Как?

— Допрыгался, — скупой ответила она. — Послезавтра провожаем.

Отдельное спасибо ему, что в день моего рождения свои похороны учинил! Подколол напоследок. Ну — какую бяку ты еще сочинишь про своего друга почившего?

Сели в автобус. В каких, помню, компаниях, приходилось ездить!

Вспомнил, как и дочку этой дорогой вез. Защищала слеза. Пусть Фека думает, что это и по нему.

Помню, как Настя встретила меня.

— Папа! Папа! Тебя к завучу вызывают!

— А что случилось-то?

Настька заплакала. А Нона воинственно выступила вперед:

— Она твое произведение на литературном вечере прочла.

— ...Какое же?

— Вечер короткого рассказа был. Нил! — смущенно произнесла Нона.

— «Пчелу пучило. Вечерело». Кто же надоумил ее?

— Я, — смущенно произнесла Нона. — Гениальная вещь! Правда, Настька?

Та покорно кивнула...

Закидонами своими не туда направил ее? Сгубил ее жизнь? Такие вот мысли... по дороге на кладбище. Я, конечно, пробовал все! Каждую пятницу в школу ее ходил. Не помогло. Какая-то обида на все... и — штопор!..

Фека, конечно, благодетельствовал, царил, козырял неограниченными возможностями своими.

— Говори — на какой факультет!

Я должен был на колени перед ним встать?

— Факультет? С ее-то тройками?

— Без проблем!

— Нет!

Все, что не по-настоящему, оказывается «куклой», фальшаком, никуда не годится... А может, отучилась бы, и пошло?.. Гипотеза эта годится лишь для того, чтобы мучиться. И то — только по дороге на кладбище... Соскочила она!

— Я тебя просил это делать? — сказал я Феке.

Все-таки просунул ее! И ни разу она туда не пришла. Ни разу! Как еще гордость свою могла проявить? Только так.

— Уйди! И больше никогда не показывайся! — я на Феку орал.

Умела Настя столкнуть. И — усмехаться... уже оттуда.

Вот теперь и он... И почему-то я сразу же к гробу кинулся, только крышку открыли, с дороги... Не он! Кукла! Видимо, Нелька лепила. С трудом радость свою сумел скрыть. А он где? Да где-то тут, с нами, нагло поглядывает, кто чего!

Было много вполне известных художников (тоже — благодетельствовал?) и вообще знатных людей. «Популярная личность?» Кольнуло.

Распоряжался всем почему-то статный седой генерал. В каком же чине, интересно, наш Фека? Скрывал! И какая-то волна бодрости пошла. Нет! Не так он прост! А как? Солдаты в парадной форме несли его!

Вошли в храм. Отпевание. Горячий воск капал на руку. Вот такие муки тебе. Но не я ли столько сделал для Феки? Образование дал. Но и он меня кое-чему научил. Неуместно об этом вспоминать здесь.

Появились певчие. Мальчик. Девочка. Старушка. И — Эдуард Хиль! Сиял знаменитым своим носом. Победно косил взглядом, как конь. Появление его вызвало шок! Только Фека мог такое устроить. Причем — живой. Кто еще уговорит Хиля, знаменитейшего нашего певца? Сейчас бодро запоет (и все зааплодируют) свое знаменитое: «Ло-ло-ло-ло-ло! Ло-ло-ло! Ло-ло-ло!» Художники, люди незашоренные, стали выбегать, зажимая смех. Ураганил наш друг. Хиль, правда, сумел вписаться в церковный хор... но покойника явно затмил.

Поминки бодро прошли. Вспоминали Фекины штучки. Каждого ошастливил. Всех сблизил. И седого генерала, когда он к гробу склонился, я все же узнал. Это же Ленька, курсант, которого Фека волок. Какие люди!

Поминки как-то сближают с покойником, и даже тех, кто обиду таил... В день моего рождения похороны устроил! Но потом я пригляделся, принялся. И потеплел. Я бы свой день рождения так не отметил, стол такой не накрыл и гостей бы таких не собрал. Спасибо, Фека! Не в последний, надеюсь, раз! И некоторые вспомнили про день рождения мой, и даже поздравили, и мы даже чокнулись под столом. Показалось — и с ним... И обратно уже ехалось как-то легче. Дорога на кладбище и дорога с кладбища — совершенно разные вещи.

28.

— Твоя голова полетит в Китай! Приезжай!

Я споткнулся. Как раз, заплетаясь, нес свою битую «тару мозга» в поликлинику, и вдруг — такой взлет!

Примчался к Нельке.

— Глиняная, ты имеешь в виду?

— Ну, в сопровождении твоей...

— Впарить, как Бродского? — я глянул на бюст. — Только Фека такое мог. Куда мне!

— Не прибедряйся. Ты думаешь, я не видела, как ты свой день рождения на поминках Феки отметил, за богатым столом? Принял эстафету — неси!

Да. Я понял уже, что тот банкет — не бесплатный.

Я в зеркало поглядел на себя, как на Феку.

— Нет, что-то благородное я вложил в него.

— Так это и нужно. Сумел же ты краденое, да еще и фальшивое кольцо сделать обручальным. И счастье нам дал.

— Ну, — засмутился я. — Так на это целая моя жизнь ушла. А сейчас...

— А в сломанную молнию кто душу вдохнул? Мне Ашот рассказывал.

— Ладно. Лечу!

Только мы, художники, делаем мир драгоценным! Или, как Фека говорил: «Потому-то я друга и посылаю».

Но если я — Фека, значит, Нелька — моя? Но не будем форсировать. Печальный опыт есть.

29.

Восьмой час летим. Вспомнил, как в Москве, после вручения очередной Фекиной куклы, я уходил по запасным путям, а за мной получатели с железяками гнались... И неужели опять?

Нет! Вспомнил другой проект — тоже, кстати, с бюстами... Мы ехали по Италии. Это был каблук ее — Апулия, не самая живописная часть — плоская, с однообразными замками. И хотя никаким руководителем я не был, переживал, будто это я виноват, что море не такое уж синее, а гор — вовсе нет. И все уже, уловив мою сущность, с претензиями обращались ко мне: «Почему нету гор?» — «Не успел!» — «Что значит — не успел? Взялся — так давай!» Почему я «взялся»? Причем в Апулии, где мало кого знал.

И вот мы снова идем по изъеденным временем плитам. Оказывается, замок построил Филипп, какой именно, мы прослушали, а переспрашивать неудобно... Пробел! И именно я должен его как-то залатать: кто же еще? Был единственный монумент, наводящий на размышления, занимающий почти весь нижний зал — огромная каменная башка с вытаращенными зенками.

— Знаю его! — воскликнул я. — Филипп Башковитый! Он!

Все радостно кинулись к Башковитому сниматься. Теперь в новые старые замки врывались жадно: кто отличится первый?

— Филипп... Частичный! — раздался крик.

Кинулись к Филиппу. Действительно — не все было при нем. Все мчались по лестницам, в поисках Своего.

— Филипп... Скрытный! — донеслось с третьего этажа. Побежали. Филипп, действительно, скрыл лицо, скелето. И — постепенно все обрели Филиппов, и ими гордились, и только друг мой Саня не поспевал.

Не хватало стремительности, игры ума. Даже стало как-то неудобно сидеть с ним. Но вот во дворе заброшенного замка мы увидели брошенные в траву обломки. Руки... ноги... голова...

— Филипп Ненужный! — произнес Саня, прочувствовав, видимо, сходство и со своей судьбой.

Но он-то стал теперь нужным, а то неудобно было перед творческими людьми.

И вот, десять лет спустя, на людном московском сборище, ко мне вдруг кинулся толстый седой мужик с криком:

— Филипп Башковитый! — и обнял меня.

— Помнишь?

— Мало чего! Только — Филиппа.

— Не забыл!

— Так мы с Михеевой каждый день их плодим, хотя и живем на разных континентах!

— Надеюсь, строго на реальной основе? — строго спросил я.

— Принимаются только с фото!

— Отлично.

Приятно придумать игру, в которую все играют. Для этого и живу.

Очнулся. Ну что, вдохновение мое? Спишь, как и весь салон? Для вдохновения неодолимое желание нужно — кому-то помочь, срочно что-то сделать спасительное. А жизнь — молчит. Как торчал передо мной голый человеческий кумпол небывалой высоты, через два ряда впереди, так и торчит неподвижно. И это — жизнь? Все сползли, спят, а он торчит, как символ безнадеги. Неужели глиняный... как и я? Расплодились, куклы. И не шелохнется...

Я уже начал в отчаяние впадать: нехороший знак. Ничего у меня не получится. И вдруг! Нежная женская рука, правая, унизанная красивыми кольцами, оказалась на этой пустынной лысине, любовно погладила ее, потом дружески пошлепала и исчезла.

Все! Есть на земле жизнь! И даже в воздухе. И уши ожили, порозовели. Так что — ничего... Справляемся, с горем пополам. И даже — в мировом масштабе.

Глянул в иллюминатор — под нами Тибет!

30.

И только когда тьма обступает со всех сторон, я в отчаянии кричу, как из колодца:

— Мама! Я здесь!